

Елизавета Николаевна Водовозова

Из недавнего прошлого



Елизавета Николаевна Водовозова

Из недавнего прошлого

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22806433

Аннотация

«В 1887 году, в феврале был арестован мой сын, Василий Васильевич Водовозов, в то время студент третьего курса юридического факультета Петербургского университета. За час или полчаса до обыска горничная подала мне визитную карточку, на которой значилось: „Действительный статский советник П. К. З-ский“...»

Содержание

I	4
II	52

Елизавета Водовозова

Из недавнего прошлого

I

В 1887 году, в феврале был арестован мой сын, Василий Васильевич Водовозов, в то время студент третьего курса юридического факультета Петербургского университета. За час или полчаса до обыска горничная подала мне визитную карточку, на которой значилось: «Действительный статский советник П. К. З-ский».

Ко мне вошел господин небольшого роста, по наружности далеко за пятьдесят лет. По его словам, он только что приехал из Москвы, чтобы просить меня и еще двух-трех издателей перевести наши издания в Москву и передать ему все хлопоты по этим делам. Желание посвятить свою жизнь книжному делу и заставило его явиться ко мне. Я не стала расспрашивать его об условиях и заявила ему, что для меня это совершенно немыслимо: помещения, как для книжного склада, так и для моей квартиры, наняты по долгосрочному контракту, и я совершенно не могу воспользоваться его предложением. Но он продолжал настаивать и развивать свой проект, а в конце концов просил меня давать ему мои книги хотя на комиссию. Тут я предложила ему чаю, и на

стол, у которого мы сидели, нам поставили чайный прибор.

В то время когда мы вели нашу беседу, вдруг дверь отворилась и в комнату, без доклада горничной, вошел господин очень высокого роста в военной форме. Будучи крайне близорукою и имея одного близкого знакомого из военных, жившего в то время далеко от Петербурга, я подумала, что это он, и с радостью пошла ему навстречу. Каково же было мое удивление, когда я увидела перед собой полицейского пристава.

– Мне поручено сделать обыск в вашей квартире, – произнес он и, видимо, хотел еще что-то прибавить, но в ту же минуту к нему подлетел действительный статский советник и, суетливо-нервно впихивая ему в руки свою визитную карточку, торопливо заговорил:

– Я знать не знаю госпожу Водовозову... Заходил к ней только на одну минутку навести справку. А теперь крайне тороплюсь на поезд Николаевской железной дороги. Из моей карточки вы узнаете мой адрес.

Полицейский пристав загородил ему дорогу и, указывая на чайный прибор, сказал:

– Как же это так, ваше превосходительство! Вы, видимо, только что благодумствовали за чайным столиком, и вдруг «знать не знаю»! Должен предупредить вас, ваше превосходительство, что я имею право задерживать всех, кто находится или входит в квартиру в момент обыска. Да мне кажется, что и вы сами не пожелаете оставить даму одну в столь

неприятную для нее минуту. А я знаю, что госпожа Водовозова одна в доме: в третьем этаже у нее идет обыск, а сейчас он начнется и здесь. Ведь вы же можете быть ей полезны вашим присутствием при обыске и при составлении протокола, наблюдая за правильным действием полиции.

– Ничем я не могу быть полезен человеку, которого я совершенно не знаю и никогда в жизни не видал. К тому же я должен моментально ехать на поезд...

– Вот как! Пользоваться радушным приемом (он опять указал на чайный прибор) незнакомой дамы возможно, а оказать ей услугу в затруднительную минуту вы, ваше превосходительство, считаете невозможным? К тому же поезд первого и второго классов в Москву (он вынул свои часы) уже отошел, – теперь три с половиной часа.

– Но я решительно не могу здесь оставаться ни минуты. Я навел маленькую справочку, а затем у меня нет с госпожой Водовозовой решительно никаких дел. Я же ясно сказал вам, что я незнаком с ней... Вы ведь видите, что я не прячусь: я дал вам свой московский адрес. Можете вызывать меня когда угодно: я не отлыниваю, но теперь ухожу...

И он двинулся к двери, в двух шагах от которой стоял пристав.

– Позвольте, позвольте, ваше превосходительство... не извольте торопиться. Остаться вам или нет во время обыска, я отдаю всецело на решение госпожи Водовозовой: если она находит бесполезным ваше присутствие – можете уйти,

если же она пожелает – вы должны будете остаться.

– Пожалуйста, отпустите господина З., – обратилась я к полицейскому приставу. – Он действительно приезжал ко мне только по делу и видел меня сегодня в первый раз в жизни. Я вовсе не желаю задерживать его при обыске.

– Можете, можете уходить, ваше превосходительство... Да-с: его превосходительство настоящий рыцарь! – произнес пристав, усаживаясь на стул. Не знаю, слышал ли последние слова действительный статский советник, так как он на ходу, крайне торопливо надевал пальто и, не застегиваясь, буквально выскочил из двери как ошпаренный. Только что захлопнулась за ним дверь, как до нас донесся отчаянный крик с лестницы.

– Ха-ха-ха... да ведь это молодцы задержали его превосходительство! – хохотал пристав и, вскочив, побежал в переднюю, раскрыл дверь и закричал полицейским, чтобы они пропустили г-на З-го.

Каждое слово, каждая фраза, обращенная приставом к действительному статскому советнику, дышали иронией. Но я не осуждала этого насмерть перетрусившего человека. В те сравнительно недавние времена обыски и аресты не были еще в такой степени бытовым явлением, какими они сделались позже, и тогда немало было людей весьма интеллигентных, которые смотрели на них с превеликим страхом, остерегались входить в сношения с людьми, близко стоявшими к потерпевшим такую аварию; громадное же большинство

русского общества смотрело в таких случаях на всех членов семьи арестованного как на отмеченных печатью Каина.

Пристав, прежде чем приступить к обыску, задал мне несколько вопросов. Почему моя квартира, состоящая лишь из немногих комнат, находится в двух этажах? Почему моя другая квартира, во дворе, замкнута? Если в ней всего одна комната и сложены мои издания, то почему же они не находятся в одном помещении? Просил меня назвать всех членов моей семьи и всех служащих у меня.

Все мои ответы, видимо, казались ему удовлетворительными, если об этом судить по тому, что он не возвращался к ним снова. Но и у него, и у всех других, когда меня подвергли формальным допросам, возбуждала крайнее подозрение моя квартира, расположенная в двух этажах. Между тем это было простою случайностью и не носило и тени чего-нибудь конспиративного или подозрительного.

– Согласитесь, что квартир в Петербурге в пять-шесть комнат сколько угодно. Почему же вам пришлось устроиться в двух этажах? Наконец, если вы решили поместиться в двух этажах, зачем же вам было пробивать пол и проводить внутреннюю лестницу? Все это, вероятно, было хлопотно и дорого?

– И даже весьма неудобно для меня по несколько раз в день спускаться и подниматься по лестнице, – добавила я. – Но еще неудобнее было бы для меня нанять квартиру далеко от моего книжного склада. К тому же я нигде в этой мест-

ности не находила такой хорошей и сравнительно дешевой квартиры, как эта.

– Думаю, что такие доводы не будут сочтены достаточно мотивированными, – сказал пристав, пожимая плечами, как будто желая заставить меня серьезно подумать об этом.

Когда увозили моего сына и жандарм, делавший у него обыск в третьем этаже, понятые и дворники выходили из квартиры, я подошла к приставу, который стоял в сторонке, и спросила его, по какой причине был сделан этот обыск, почему арестован мой сын и куда везут его теперь.

– Нас известили, что в мастерскую госпожи Кармалиной отдан в брошюровку перевод Туна «История революционного движения в России», книги у нас недозволенной. Затем мы узнали, что литографированные листы этого перевода были доставлены в брошюровочную вашим сыном¹. Теперь его везут для дачи первых показаний, а куда посадят, не знаю, но вы можете об этом справиться завтра в жандармском управлении.

Я не сумела оценить тогда этот, хотя и осторожный, но неуклончивый ответ пристава, но скоро убедилась, что, прежде чем добиться самой законной справки об арестованном, приходится терять много времени, бегая то туда, то

¹ Книга немецкого проф. Туна, существующая теперь на русском языке в нескольких переводах, считалась в то время недозволенной. В сотрудничестве с несколькими лицами мой сын перевел эту книгу, снабдил ее примечаниями и приложениями. Этот перевод не был им напечатан, а лишь литографирован в небольшом количестве экземпляров. (Примеч. Е. Н. Водовозовой.)

сюда, и нередко испытать множество кривляний и издевательств лиц, заведующих подобными делами.

На другой день обыска, рано утром, мне сказали, что меня желает видеть Клеопатра Федоровна Кармалина, с которой я уже давно была знакома. В продолжение многих лет она исполняла секретарские обязанности в журнале «Русская старина», получала по тогдашнему времени большое вознаграждение, а затем открыла свою собственную маленькую брошюровочную. Это была женщина уже не молодая, с очень некрасивым лицом красно-кирпичного цвета, весьма неглупая и остроумная, но с превеликими странностями. Иногда она приходила к нам одетая буквально как рыночная торговка, в заплатавшем пальто и в истрепанном платье, нескладно висевшем на ней, а однажды в морозный день утром пришла в легком платье канареечного цвета с глубоким вырезом на груди. При этом объяснила, что она так разоделась потому, что в редакции грозят ее прогнать, если она не будет прилично одеваться. Когда ей заметили у нас, что едва ли удобно носить светлое и легкое платье зимою, да еще в конторе, где ей постоянно приходится возиться с пыльными книгами и тетрадями, ей только тут пришло в голову, что это действительно не совсем удобно. «Но откуда же взять денег на новое платье?» – говорила она, объясняя нам, что у нее страсть, от которой она никак не может избавиться. Эта страсть зачастую заставляет ее тратить все заработанные деньги на безделушки, которые так привлекают ее в окнах

магазинов, а затем оказываются для нее вовсе не нужными. Дорого ей обходится и содержание огромной собаки, которая ночью всегда лежит на постели у ее ног, так как занятия в редакции не позволяют ей проводить с «любимым существом» достаточно времени. Она не имеет ни одного друга, ни одного близкого человека ни среди своих знакомых, ни среди родных, – собака ее единственный друг, и она любит ее больше всего на свете.

И вот эта-то женщина, которая, как нетрудно было догадаться, и выдала моего сына, теперь подымалась ко мне по внутренней лестнице из третьего этажа. Она еще не успела взобраться наверх, как я, стоя на площадке четвертого этажа, просила ее не подыматься выше, а только сказать мне, как она может объяснить то, что сын мой арестован, а она на свободе.

Смущаясь и путаясь, она не прямо отвечала на мой вопрос, но из сказанного ею ясно было, что она с неделю тому назад поссорилась с одним из рабочих своей мастерской и рассчитала его. Обозленный отказом рабочий поклялся отомстить ей, вот он и донес, что в ее брошюровочной находится недозволенная книга. У нее вчера утром сделали обыск и отобрали все листы, отданные моим сыном в брошюровку.

– Но ведь рабочий, вероятно, не знал моего сына? У вас отобрали листы или книги, на которых не было выставлено ни фамилии переводчика, ни издателя, вы остались целы и невредимы, а мой сын арестован... Кто же выдал его?

Она опять начала что-то плести, беспрестанно повторяя одну и ту же фразу:

– Ведь я же ничего не понимаю в политике!

Меня это наконец вывело из терпения, и я прервала ее разглагольствования словами:

– Меня не интересуют ваши политические воззрения. Мне необходимо знать, и вы нравственно обязаны сказать мне: вы ли выдали моего сына и предупреждал ли он вас о том, какие книги он отдавал вам брошюровать, а также закрыта ли в данную минуту ваша брошюровочная.

– Бога ради, не сердитесь! Вы сами увидите, что я не виновата... Я вам расскажу все по порядку. Утром вчера ко мне нагрянула полиция и сейчас же нашла книги, – рабочий все им указал. А пристав нашего участка начал на меня кричать, топтать ногами и все тыкался: «ты» да «ты», точно я простая баба: «Ну, ты, собирайся!» – орет он во все горло. Я уж и пальтишко накинула, к двери прижалась, д\$ в эту минуту мой песик выскочил из-за перегородки и бросился на пристава, так тот даже оторопел, а затем стал орать на меня еще пуще прежнего. «Уйми, говорит, старая дура, свою собаку!» Я песика унимаю, а пристав меня, ей-богу не вру, самыми непечатными словами, как горохом, осыпает. И вдруг свой кулачище в мое лицо как сунет, ногами топает, а сам кричит: «Сейчас говори, сволочь, кто эти листы тебе приносил?» Как же было не сказать? Я и сказала. Что же тут такого? Не могла же я дать ему избить меня до полусмерти? И

сколько я неприятностей из-за всего этого вынесла: вхожу в мастерскую, а рабочие меня на чем свет бранят, в голос кричат: «Такое обхождение вы по заслугам получили: выдали студента, да и одеваетесь хуже последней судомойки!.. Вас и за хозяйку-то никто не почитает!»

– Скажите же мне наконец, говорил ли вам мой сын, какого сорта книги он вам отдавал в брошюровку?

– Да, говорил, что-то про цензуру и про политику, а я ведь ни в цензуре, ни в политике ничего не смыслю...

– Вы работали несколько лет в редакции журнала, теперь имеете свою брошюровочную – и ничего не понимаете в этих делах! Какой вы вздор несете! Все это вы прекрасно знаете и даже сумели сообразить, что за донос вы можете остаться на свободе.

– Да разве я боюсь тюрьмы? Меня уже вызывали к допросу, грозили закрыть мастерскую, и я вынуждена была и там подтвердить, что показала при обыске. Мастерская хотя и не закрыта еще, но я каждую минуту жду, что ее закроют.

Но мастерская не была закрыта, а очень скоро умерла собственной смертью, вследствие недостатка работы.

Сейчас после свидания с Кармалиной я должна была ехать в жандармское управление. До тех пор мне лично никогда не приходилось хлопотать об арестованных. Я не знала, что в каждом учреждении, ведающем подобные дела, нужно, по крайней мере, знать по фамилии лицо, от которого можно было бы добиться необходимых сведений. При первом же

шаге я потерпела полное фиаско, причиною чего отчасти было и то, что я не умела по форме военного и полицейского различить его чин и звание. Когда я вошла в жандармское управление, я спросила служителя, где я могу узнать, в какую тюрьму посажен мой сын. Служитель довел меня до одного из отделений этого учреждения и распахнул дверь в большую комнату. За столом сидели три жандарма, и к одному из них я обратилась за необходимыми для меня справками. Перед ним лежали какие-то бумаги, и он вместо ответа, перелистывая их, начал расспрашивать меня о моей квартире, о том, что заставило меня устроить ее так, как никто не устраивается в Петербурге, – одним словом, стал задавать мне те же вопросы, какие задавал и полицейский пристав, но еще с большими подробностями. При этом он все время наклонялся к бумаге, которая лежала перед ним: видимо, это был рапорт об обыске.

– Понимаете, квартира всего в семь комнат, – говорит он соседу с иронической улыбкою, – а между тем она устроена в двух этажах, пробита внутренняя лестница... Члены вашей семьи обедают вместе? – обращается он ко мне, – и если это так, значит, каждый раз они должны подыматься наверх. Слышал я, что так устраиваются англичане, живут в трех и четырех этажах, но чтобы обыватели Петербурга размещались таким образом, – не имел понятия.

Я ответила на эти вопросы так же, как и приставу, но по выражению его физиономии видела, что он не верит моим

объяснениям.

– Может быть, вы будете любезны объяснить нам также, почему у вас происходят такие многолюдные собрания по вторникам? Почему вы не даете предварительно знать об этом полиции?

– Будьте добры, скажите мне, если это формальный допрос, то почему же я не получила повестки для явки? Ведь я пришла сюда только затем, чтобы узнать, в какой тюрьме сидит мой сын.

– Вы действительно имеете право не отвечать на эти вопросы, так как вы не вызваны формальной повесткой. Но я хотел оказать вам только любезность, чтобы лишний раз не беспокоить вас приходом сюда. В таком случае вы на днях же будете вызваны для дачи показаний. Имею честь кланяться...

– Позвольте же спросить вас, в какой тюрьме сидит мой сын?

– Можете там справиться, – отвечал он крайне сухо, кивнув головой направо.

Я решила, что это означает – в комнате направо от той, в которой я находилась. И когда вышла в коридор, я остановилась у полуоткрытой двери маленькой комнаты, у стола которой стоял рыжеволосый жандарм и курил папиросу. Я задала ему тот же вопрос. Вдруг он быстро подскочил ко мне, так что я даже попятилась назад, и, смотря мне в упор злыми глазами, с раздражением закричал:

– Как вы смеете входить в комнату без доклада служителя? Как вы осмелились вторгаться ко мне без предупреждения?

Я отвечала, что не переступала порога его комнаты, что дверь его была полуоткрыта, что, наконец, я не знала, что без малейшего повода с моей стороны я нарвусь на дерзость. И быстро пошла к выходу. Сердце горело от стыда и негодования, и я спускалась по лестнице с мучительным сознанием, что ничего не добилась. Когда вышла на улицу, я с тревогой спрашивала себя: «Что же теперь делать?» – и решила отправиться в департамент полиции. Но в приемной этого учреждения никого не было, кроме чиновника, который что-то писал за столом, а перед ним стоял молодой человек с симпатичным лицом. Когда чиновник кончил писать, он подал ему для подписи какую-то бумагу, а сам обратился ко мне.

– Я не имею ни малейшего представления о деле вашего сына, – отвечал он мне и назвал приемные дни и часы директора, добавив, что тогда я могу все узнать, что мне надо.

– Но ведь в таком случае мне придется ожидать еще два дня! – невольно вырвалось у меня.

– Почему же вы не спросили об этом в жандармском управлении?

– Я только что оттуда, но встретила там ничем не вызванную с моей стороны дерзость и явное нежелание дать мне это сведение.

Я направилась к двери, а сзади меня шел молодой чело-

век, который мне показался несколько знакомым. Когда мы молча оделись в передней и вышли на улицу, он сказал мне, что встречал меня у таких-то общих знакомых, и назвал свою фамилию. Я чрезвычайно обрадовалась, что встретила человека своего круга, рассказала ему свое дело и спросила его, как узнать сегодня же все то, что мне так необходимо. Он посоветовал мне сейчас же снова отправиться в жандармское управление, подать служителю визитную карточку и попросить отнести ее товарищу прокурора по политическим делам Котляревскому.

– Про него идут не очень-то хорошие слухи, – говорил он. – Однажды при обыске, как рассказывают, он осмелился раздеть догола одну политическую, и в него политики даже стреляли. Но мои знакомые, обращавшиеся к нему в последнее время за различными справками, остались довольны его приемом. Отправляйтесь к нему, только торопитесь: он останется в жандармском управлении, кажется, до четырех часов. Что же касается нахала жандарма, который наговорил вам всяческие дерзости, то скажите, какой он на вид? Не рыжий ли, с рыжими торчащими усами, среднего роста и с крайне антипатичным лицом? Если это так, то это жандармский ротмистр П. Он еще может, если представится случай, отомстить вам за ваш ответ!

Его описание вполне соответствовало наружности наглого жандарма.

Опять лечу в жандармское управление. Надежда так

открылила меня, что я не чувствую никакой усталости. Я сделала все так, как мне советовал молодой человек. И сотрудник, относивший мою карточку, немедленно заявил, что г. Котляревский ждет меня, и проводил до его комнаты. Когда я открыла дверь, навстречу ко мне поднялся господин высокого роста, плотный, в очках, с интеллигентным лицом. Он попросил меня сесть и вполне вежливо отвечал мне, что мой сын находится в доме предварительного заключения, сказал, что я могу посылать туда пищу и белье несколько раз в неделю, и объяснил, какие правила существуют для отправки книг заключенному.

– Если вашему сыну несколько дней придется подождать необходимых для него книг, вы не беспокойтесь, – там существует весьма порядочная библиотека.

На мой вопрос, могу ли я теперь же просить о свидании и как следует об этом хлопотать, Котляревский отвечал, что это обыкновенно разрешается через недели полторы-две, что для этого мне следует подать прошение директору департамента полиции. Но когда я спросила его, какая участь ждет моего сына, он отвечал, что не мог еще ознакомиться с делом, но что, если я через неделю зайду к нему, он выскажет мне свое мнение по этому поводу, но вовсе не ручается, что это так именно и будет.

Из жандармского управления я решила немедленно отправиться в семейство Карла Юлиевича Давыдова, знаменитого виолончелиста, автора музыки множества романсов

и музыкальных произведений. Его жена Александра Аркадьевна (издательница журнала «Мир божий» с 1892 года), в молодости отличавшаяся замечательной красотой, получила самое поверхностное образование, но была одарена выдающимся природным умом, оригинальностью и находчивостью. Она вела знакомство среди артистического мира и светских людей высших классов общества. В 1885 или 86 году познакомившись с Анной Михайловной Евреиновой (редактором журнала «Северный вестник»), она начала быстро сближаться с интеллигентными людьми вообще, но особенно с писателями, и в то же время с одним из выдающихся из них, Н. К. Михайловским. Сближению ее с иным кругом людей и идей содействовала и ее дочь Лидия Карловна (впоследствии Туган-Барановская). В ту пору это была совсем молоденькая девушка, получившая, однако, более солидное образование, чем ее мать. Она преимущественно вращалась в кругу прогрессивной молодежи и умственно развитых студентов, устраивала у себя собрания и сама посещала кружки, в которых читали рефераты по научным предметам, обсуждали различные жизненные проблемы, вели споры.

Я торопилась к Давыдовым, с которыми познакомилась года за полтора перед этим, чтобы предупредить их о возможности у них обыска, так как Лидия Карловна принимала участие в переводе Туна. Мне необходимо было также узнать от нее, не посылала ли она моему сыну каких-нибудь бумаг и писем, так как они могли попасться в отобранных жан-

дармом бумагах моего сына. Обо всем этом я считала своей обязанностью лично переговорить с молодой девушкой и дать ей кое-какие советы по этому поводу. До моего прихода утром того же дня Давыдовы были извещены одним из своих знакомых об обыске у нас. Когда я позвонила, я услышала за дверью, что к ней кто-то приближается. Затем послышались шаги нескольких лиц, шепот и, как мне показалось, все сразу исчезли из передней. Я дернула звонок во второй и третий раз. После долгого ожидания дверь отворил сам знаменитый виолончелист. Я здороваюсь с ним и подаю ему руку; он нерешительно протягивает мне свою, которая у него так дрожит, что я спрашиваю его о здоровье, но он, не отвечая, бросается от меня, как от прокаженной, в следующую комнату, в которой сидели мать и дочь и куда вошла и я. Давыдов молча начал быстро ходить по комнате, то нервно потирая руки, то хватаясь за голову в каком-то ужасе, то пожимая плечами. Александра Аркадьевна медленно приближалась ко мне, но, не подходя близко, вдруг неистово замахала на меня руками, истерично выкрикивая бессвязные фразы:

– Зачем вы пришли? Уходите! Сейчас уходите! Это даже довольно бессовестно с вашей стороны после таких вещей приходить в чужой дом! Вас видел швейцар? Конечно, видел! За вами, наверно, кто-нибудь следил... Да говорите же, проследил ли кто-нибудь вас до нашей квартиры? Видел ли вас наш швейцар? Вы, разумеется, привели за собой целый хвост! Около вашей двери... Да, да... около самой вашей

двери посажен городской, околоточный, шпион или что-то в этом роде... Да-с, это говорил нам человек, который сам это видел! И после этого вы смеете входить в чужой дом! Это невероятно! Это просто преступление! Я прямо вам говорю в лицо: это просто даже бессовестно с вашей стороны! Вы испортили всю карьеру Шарля... Для своих глупых затей вы бросили в волчью пасть его благородное, славное имя, которое с благоговением произносит вся Европа! Вы погубили Лидушу: вы исковеркали ее жизнь, все ее будущее... Вы все бросили в помойную яму! Боже мой, боже мой!

Меня не только поражало безобразие этой сцены, но и то, что Александра Аркадьевна, эта светская дама, которая прекрасно умела владеть собой, тут, видимо, пришла в какое-то исступление. Я молчала, да и немислимо было вставить хотя одно слово во время диких выкриков, которые она безостановочно точно выбрасывала из себя. Иногда вместе с ее выкриками раздавался голос ее дочери, которая тянула мать за юбку, хватала ее за талию, прижимала ее к своей груди, умоляя:

– Мамочка, успокойся! Мамочка, выпей воды! Мамочка, мне необходимо переговорить с Елизаветой Николаевной... Ты должна благодарить ее, что она к нам заехала. Иначе я сама поехала бы к ней сегодня же, – ведь тогда бы ты еще больше перетрусилась...

Но Александра Аркадьевна, отталкивая свою дочь, продолжала выкрикивать на разные лады те же бессвязные фра-

зы, а ее супруг по-прежнему нервно бегал по комнате, то потирая руки, то хватаясь за голову. Но вот в выкриках его супруги послышались хриплые ноты. Дочь поднесла ей стакан воды. Я воспользовалась перерывом и громко сказала:

– Видно, что вы всю свою жизнь прожили среди людей, которые арестовывали других... Напрасно вы начали Путаться среди тех, которых арестуют! Вот потому-то по отношению к ним вы и теряете самое элементарное приличие и самообладание.

Александра Аркадьевна вдруг смолкла. Выпитая ли вода вернула ей сознание, стыд ли за свою невоздержанность внезапно вспыхнул в ней, или все это вместе, только она замолчала, а слезы градом катились по ее щекам. Ее дочь, осыпая ее поцелуями и поглаживая по голове, приговаривала: «Вот, вот и хорошо! Пойдем, я тебя уложу, тебе надо отдохнуть!» – и, обняв мать за талию, повела ее в спальню. В ту же минуту маэстро быстро выбежал из комнаты. Лида скоро вернулась, но я уже одевалась в передней. Она умоляла меня зайти в ее комнату, говоря, что это для нее крайне необходимо.

Лидия Карловна была чудеснейшею и умною девушкою. Прекрасно понимая все недостатки матери, умея находить их и тогда, когда они были прикрыты ее светскою и остроумною болтовнёю, с антипатиею относясь ко множеству знакомых светского круга ее родителей, она всем сердцем разделяла стремления тогдашней молодежи, постоянно умственно шла вперед, но продолжала страстно любить свою мать, ко-

торая, в свою очередь, платила ей горячею материнскою привязанностью. Но ни новые люди, которыми все более окружала себя Александра Аркадьевна, ни новые взгляды, ни ее горячая любовь к дочери не изменили вполне ее мирозерцания, сложившегося под влияниями, совершенно противоположными убеждениям ее новых посетителей. Хотя многие взгляды, усвоенные ею чуть не накануне, она смело пускала в ход, точно всегда придерживалась их, но многое, что сильно колебало прежние ее понятия светской женщины, укладывалось в ней совершенно поверхностно: она то и дело язвительно высмеивала хорошее, симпатичное и достойное уважения. Добиваясь знакомства с каждым более или менее известным лицом, она умела умно и мило поговорить с ним и, как казалось, даже выказать сердечное расположение; от нее почти все уходили, очарованные ею. Но никто лучше ее не умел так превосходно, можно даже сказать художественно, выдвинуть слабые и смешные стороны своего посетителя, его некрасивые манеры, его невзрачный вид, смешно сидевший на нем туалет. Ее высмеивания касались преимущественно внешней стороны человека, но делались они с таким юмором и неподражаемым мастерством, что являлись выпуклыми и рельефными и заслоняли собою благородные стороны ума и сердца высмеиваемой личности. Когда подобные разговоры происходили при ее дочери, та говорила: «Опять эти зловещие светские звуки!» – или что-нибудь в этом роде, и произносила это либо с грустью, либо с досадою, смотря

по тому, кого и что высмеивала ее мать. Лидия Карловна рано составила себе правильное понятие о том, над чем можно смеяться и чего не дозволяет нравственное чувство интеллигентного человека. Мать была несравненно одареннее дочери, но многие, присутствуя при том, как она беспощадно критиковала то того, то другого, только что вышедшего за порог ее двери, не принимали в расчет неблагоприятных сторон ее воспитания и прежней жизни, считали ее двуличною и фальшивою. Напротив, к ее дочери все, кто близко знавал ее, относились с полным доверием и благожелательностью.

Когда я очутилась наедине с Лидиею Карловною, я спросила ее о том, какие рукописи и письма она в последнее время пересылала моему сыну, чтобы сообразить, что из них могло быть захвачено при обыске, затем дала ей множество указаний, как ей следует действовать. Я встала уже, чтобы уходить, когда Лидия Карловна опять заговорила: «Мне бы так хотелось объяснить вам причины дикой сцены, которую мама закатила вам», – и она рассказала мне, что утром в этот день один из ее знакомых известил ее об обыске у нас. Это заставило ее немедленно заявить родителям, что то же самое грозит и ей, что она, наверно, будет скоро арестована. Хотя они сперва не поверили в возможность этого, но это так их ошеломило, что они послали с нарочным записку старинному другу семьи (который знал Лиду с ее рождения и был с нею на «ты»), чтобы он немедленно посетил их по очень важ-

ному делу. Выслушав все, что Лида при родителях сообщила ему о своем участии в этом злополучном деле, их приятель сказал, что за перевод нелегального сочинения и издание его в ничтожном количестве, не получившего еще распространения, по его мнению, переводчики понесли бы небольшую кару, вроде того, что их отдали бы на известное время под негласный надзор полиции. А вот тем, кто писал примечания и снабдил перевод Туна приложениями, а судя по заглавию книги можно себе представить, какого характера они должны быть, раз их составляли радикальные студенты, им уже не только никогда не видать университета, но их ждет судьба, пожалуй, и похуже. Этот друг Давыдовых очень советовал им сильно попридерживать теперь Лиду от посещения и приглашения к себе подобных молодых людей, иначе, говорил он, ей не уцелеть. Он, то есть приятель семейства знаменитого музыканта, ушел от них не более как за полчаса до моего прихода. Вот это и было, по словам Лидии Карловны, главной причиной испуга ее матери «до умопомрачения». Затем эта милая девушка стала говорить мне, что как она, так, вероятно, и многие сотрудники перевода Туна сочтут своею нравственною обязанностью отправиться в жандармское управление и заявить о своем участии в названном издательстве, что такое сознание всех прикосновенных к этому делу, вероятно, облегчит судьбу моего сына, на котором теперь тяготеют их общие грехи, и в таком случае ему, вероятно, не будет грозить опасность покинуть навсегда универ-

ситет.

Я доказала ей всю несостоятельность и неправильность такого взгляда в принципиальном отношении, обратила ее внимание и на то, что наши нравы обязывают того, кто попался, мужественно выкручиваться самостоятельно и все силы употребить на то, чтобы даже случайно кого-нибудь не пристегнуть к своему делу, если бы оно даже велось сообща.

Когда я выходила от Давыдовых, чтобы ехать домой, уже наступил вечер. Я только теперь почувствовала страшную усталость. С момента обыска прошло немногим более суток, а я за это время пережила смену самых разнообразных впечатлений: воочию увидела предательство и человеческую низость, испытала незаслуженную дерзость, была свидетельницей всей мерзости рабского страха. «Но, боже мой, какие это все мелочи, – думала я, – сравнительно с тем ужасом, который охватывал меня при мысли, что мои сын будет лишен университетского образования». Это только теперь впервые пришло мне в голову. После его ареста я думала только об одном: будет ли он иметь возможность заснуть в тюрьме, дали ли ему что-нибудь поесть. Но то, что арест может повлечь за собой лишение образования, мне ни разу не пришло в голову за суетой этого дня. «Нет, я не могу, я не должна этого допустить! Как мать, я обязана отдать всю жизнь до последнего вздоха, чтобы только не случилось этого!» Меня всю знобило, сердце то замирало, то учащенно билось, и я с тревогою думала о том, в состоянии ли я подняться к себе в

четвертый этаж. «Если бы заплакать, если бы заплакать, мне стало бы легче!» И мне вспомнилось, как в особенно тяжелые минуты моего злополучного детства у меня тоже не было слез и как обожаемая мною сестра, наклоняясь надо мной, говорила: «Заплачь, сестренка, заплачь, тебе будет легче!» Ее горячие слезы падали на мое лицо, растопляли лед, сковывавший мои члены, и я начинала рыдать на ее груди. «Ее уже давно нет, – и один ужас впереди!» Минутами мне представлялось, что передо мною вертится громадных размеров колесо: я нечаянно зацепилась за один из его зубцов, и теперь уже мне не будет пощады.

Подымаясь к себе мимо третьего этажа, я увидела, что городской продолжает сидеть у дверей нашей квартиры. Он весело и добродушно закивал мне головою, точно встретил родного человека. Несколько дней сряду после обыска то один, то другой городской сидел у нашей двери. Мы совершенно свободно уходили и возвращались домой, некоторые из знакомых навещали нас, и городской не мешал этому. На некоторых, однако, он наводил страх: узнав, что нашу дверь сторожат, многие не приходили вовсе, а другие, уже подымаясь на лестницу и только тут заметив городского, делали вид, что читают дощечки или ошиблись номером квартиры, и спускались вниз, – так, по крайней мере, они сами нам рассказывали.

Когда я позвонила, навстречу мне выбежали мои домашние и курсистка Гитта, которую мы все очень любили. Я мог-

ла только сказать им, что устала, лягу в постель и тогда все расскажу. После изложения всех моих мытарств и злоключений мои домашние разошлись по своим комнатам, а молодая девушка села подле моей кровати и начала сообщать о своем тяжелом положении. Она, как и другие курсистки-еврейки, после переэкзаменовки некоторых окончательных экзаменов осенью, должна была уехать из Петербурга. Экзамены затянулись, но вот уже месяц, как они кончились, а ей крайне необходимо пробыть в Петербурге еще с месяц. Последнее время, по хлопотам различных лиц, ей выдавали отсрочки, но дольше полиция не желает ее здесь оставлять и через два дня заставляя ее уехать на родину. Она – сибирячка, может получить деньги только через месяц; к тому же тут у нее есть неотложные дела. Вся надежда у нее только на меня. Я должна что-нибудь придумать, что-нибудь сделать, чтобы она могла прожить в Петербурге еще хотя один месяц.

– Я ничего не могу придумать, чтобы облегчить опасность, грозящую моему сыну, чем же я могу помочь вам? Я даже не имею представления о том, к каким лицам обращаются в таких случаях.

Гитта осталась ночевать в моем кабинете, в который дверь моей спальни была открыта. Через несколько часов, убедившись, что она не спит, я позвала ее к себе и сообщила ей, что по ее делу я надумала обратиться к полицейскому приставу, который накануне делал у нас обыск. Но по выражению ее физиономии я поняла, что мои слова не только сердят, но и

обижают ее. Помолчав, она проговорила:

– Я знаю, что с моей стороны было крайне неделикатно тревожить вас... Что же делать, если вы для меня являлись соломинкою, за которую хватаются утопающие. Но зачем же предлагать такое, что можно принять за насмешку?

– Если бы вы за один день испытали столько, сколько я сегодня, то вы, наверно, более доверчиво отнеслись бы к полицейскому приставу, о котором я говорю. Он чрезвычайно зло и остроумно высмеивал смехотворную трусость действительного статского советника, без придирок и мелочности исполнял свои обязанности, был со всеми вежлив и корректен, охотно и без уверток отвечал на мои вопросы, а в жандармском управлении меня пересылали из одного отделения в другое, гадко и злобно осыпали меня дерзостями, хотя я не подала к этому никакого повода. Вот я и желаю обратиться по вашему делу к этому человеку. Я не думаю, чтобы он чем-нибудь существенно помог вам в вашем затруднении, но я уверена, что он даст хотя какой-нибудь толковый совет, объяснит нам, к кому можно было бы обратиться.

Узнав от дворника, что пристав принимает в 11 часов утра, мы отправились с Гиттой еще раньше, чтобы явиться к нему до его приемного часа, и я предварительно написала на визитной карточке, что прошу его принять меня по моему личному делу не в участке, а в его квартире. Пристав немедленно вышел со словами:

– Но чем же я могу быть вам полезен? Ведь с окончанием

обыска окончились и мои обязанности.

Я отвечала, что пришла к нему с моею приятельницею с просьбою, а если он не может исполнить ее, то дать нам хотя добрый совет.

– Удивляюсь, прямо можно сказать поражен, что вы... вы... после обыска, сделанного мною, все же решаетесь обратиться ко мне с просьбою, да еще за советом. Наперед обещаю, что все, что в пределах закона и что дозволят мне мои силы, я все сделаю для вас обоих с величайшим удовольствием.

Моя приятельница подробно рассказала ему свое дело и показала свои бумаги. Рассмотрев их, он сказал:

– Разрешить вам продолжительное пребывание в Петербурге я не имею права, но еженедельно выдавать вам отсрочку в продолжение полутора месяцев – могу.

И он сейчас же выдал ей какую-то бумажку на неделю, а затем просил ее присылать к нему свою прислугу каждую неделю за такую же отсрочкой.

– И в другой раз я готов прийти к вам на помощь, если только вы не побоитесь моего звания, – сказал он нам, когда мы, прощаясь, благодарили его за оказанную услугу.

Через несколько дней после обыска я получила повестку, вызывавшую меня в жандармское управление. За столом в комнате, в которую меня ввели, сидели два жандарма. Когда я уселась на указанный мне стул, один из них, не подымая головы, продолжал что-то писать, а другой начал снимать с

меня формальный допрос. Тут только я рассмотрела, что это был не кто иной, как жандармский ротмистр П. Я не показала и вида, что узнала его, и совершенно покойно отвечала на все его вопросы, которые начались с того, что их так всех заинтересовало, а именно: о моей квартире с внутренней лестницей. Затем он просил назвать всех членов моей семьи, их лета и занятия и перешел к вопросу о причине многочисленных собраний у меня по вторникам. На этот вопрос я отвечала, что всю жизнь прожила в Петербурге и нет ничего удивительного в том, что приобрела много знакомых. На его же предложение назвать их имена и фамилии, я сказала, что не считаю возможным исполнить его желание.

– А по какой причине? – бросил он грубо и отрывочно.

И на это я по-прежнему вежливо отвечала ему, что из-за этого могут быть неприятности для моих знакомых.

– Позвольте узнать, о каких таких неприятностях вы изволите говорить?

– Вы сами это знаете лучше меня.

– Вы обязаны немедленно объяснить сказанное вами и назвать лиц, наиболее часто вас посещающих.

– Я решительно отказываюсь отвечать на оба эти вопроса.

– Вы должны понимать, что это совершенно бесполезно: агентурные сведения дают нам возможность прекрасно знать всех лиц, посещающих вас.

– А потому-то я и не сообщаю, что это бесполезно, как вы сами только что сказали.

Он резко пододвинул мне бумагу с словами:

– Извольте писать под мою диктовку.

И он начал диктовать по порядку, все, что было мною сказано, придавая местами иной характер моим словам и выражениям. Я положила перо со словами:

– Зачем вам трудиться диктовать, когда я сама могу написать?

– Вы думаете, у меня есть время с вами возиться? Вам сказано писать, и вы должны исполнять то, что вам приказано. Извольте сейчас же писать.

– Я не верю, что вам дано право так обращаться с кем бы то ни было. Во всяком случае, или не мешайте мне писать, или я немедленно уйду и спрошу у товарища прокурора господина Котляревского, допустимо ли здесь такое обращение, которое я встречаю от вас уже во второй раз.

– Да пусть госпожа Водовозова пишет, как она желает, – заметил второй жандарм, тут только подняв впервые голову от своей бумаги.

Когда я написала все, что требовалось, ротмистр взял бумагу и протянул ее своему соседу, который, прочитав, пробурчал:

– Кажется, все так было и устно изложено.

И я вышла из жандармского управления, уже не сомневаясь в том, что нажила себе в ротмистре П. злейшего врага.

Не дождавшись срока, назначенного мне Котляревским, я через два дня после свидания с ним, а именно 28 февра-

ля, опять отправилась к нему с предварительно заготовленным письмом, в котором извинялась, что тревожу его раньше назначенного им времени, и объясняла, что тяжелое нравственное состояние неизвестности заставляет меня осведомиться о том, не успел ли он уже ознакомиться с делом моего сына.

Те, кто был в таком положении, в каком очутилась я, прекрасно знают, что самое ужасное в подобных случаях – остаться без хлопот об арестованном близком человеке. С утра до вечера точно кто-то толкает тебя, точно кто-то нашептывает в уши: «Не стой на месте, ежедневно, ежечасно думай, разузнавай, нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения участи». Эта мысль так назойливо преследует, что всякое другое дело просто валится из рук.

Я очень удивилась, когда служитель, относивший мое письмо, пригласил меня к Котляревскому: я думала, что он вышлет мне сказать, чтобы я пришла к нему через неделю, как уже было мне сказано.

– А ведь я еще не вполне ознакомился с делом, – сказал Котляревский, когда я вошла к нему. – Вы, видимо, сильно тревожитесь за судьбу вашего сына, и я уже теперь могу вас несколько успокоить: кара, вероятно, будет совсем не из тяжелых. Имейте только в виду, что я еще не успел ознакомиться со всем необходимым материалом и что решение дела зависит от усмотрения многих лиц. Если пожелаете узнать еще что-нибудь, зайдите ко мне через три-четыре дня. Во всяком

случае, могу вас порадовать одним, – дело не затянется.

Уже прошел срок, назначенный мне Котляревским, а я все не являлась к нему. Только такое экстраординарное событие громадной важности, как второе первое марта, могло задержать меня: я знала, что все внимание жандармского управления и полиции сосредоточено теперь только на случившемся. У меня, однако, не хватало сил долго ждать, и я отправилась снова к Котляревскому.

– Теперь дело вашего сына затянется, – сказал он, махнув рукою, как бы говоря: «нам не до вас!»

– Но почему же?

– Да мало ли почему: будут разыскивать, не имели ли лица, арестованные за другие преступления, знакомства или каких-нибудь сношений с террористами, не принимали ли они косвенного или прямого участия в их заговоре. Да и кару ваш сын понесет потяжелее, чем тогда, если бы не случилось этого ужасающего преступления.

– Неужели кару за политические проступки налагают, не только соображаясь со степенью их тяжести, но и с событиями известного характера, хотя бы они совсем не касались арестованного?

– Непременно... Это сильно принимается в расчет! Такие события, как теперешнее, наводят обывателя на мысль, что господа революционеры несут слишком слабую ответственность за содеянное ими и что подобные печальные явления – результат слабости правительства.

– Неужели правда и то, что усиливают кару политическо-го и за случайное знакомство с лицом, более его скомпро-метированным? Ведь человек может быть знакомым с тем или другим, но находить своего приятеля неподходящим к революционной деятельности и ни слова не говорить с ним о своих планах и намерениях революционного характера.

– Извините, у нас этого никогда не бывает! Молодой чело-век, отдавшийся революционной деятельности, считает каж-дого своего знакомого подлецом, если тот не занимается тем же, чем и он, а себя ни к чему не годным, если он не сумел склонить каждого к такой же деятельности.

Недели через полторы после обыска, когда отобраны бы-ли формальные показания как от всех членов моей семьи, так и от служащих у меня в то время и служивших в моем доме много лет тому назад, мне разрешены были свидания с сыном. Я знала, при какой обстановке происходят эти сви-дания в доме предварительного заключения, мне однажды начертили даже план комнаты с клетками, но действитель-ность превзошла составленное мною представление. Когда я подошла к железной клетке с двойною решеткою, в кото-рую с другой стороны ввели моего сына, я была так ошелом-лена и потрясена, что долго не могла выговорить ни слова. Трудно представить себе чувство матери, когда ей показы-вают родное детище, точно хищного зверя в железной клет-ке зоологического сада! Разница только в том, что там эта клетка стоит под открытым небом, а в клетке для арестован-

ных настолько темно, что нельзя рассмотреть физиономию человека, стоящего в ней. Мне давали и «личные свидания»: тогда в одну из камер вводили арестованного и сажали его и меня за столик, у которого также садился тюремный надзиратель или жандармский унтер-офицер. Эти «личные свидания» почти не давали возможности беседовать с арестованным: если вы начинали говорить на иностранном языке, вас немедленно предупреждали, что это не дозволено; с тем же самым обращался к вам смотритель и тогда, когда он чего-нибудь не понимал в вашем разговоре. Да и в голову ничего не приходило при такой обстановке.

Некоторое время свидания шли совершенно правильно. Вдруг однажды, когда я только что вошла в дом предварительного заключения, один из надзирателей подошел ко мне и заявил, что я лишена свиданий, и быстро исчез. Я долго сидела на скамейке крошечного коридорчика перед дверью, за которой происходили свидания с заключенными, но смотритель не появлялся. Я была так ошеломлена этим известием, что решительно ничего не могла сообразить; наконец как-то машинально вышла на улицу и отправилась в жандармское управление. Без доклада вошла я к Котляревскому, который встал при моем появлении, и как-то машинально опустилась на стул. Я молчала, а он ходил по комнате, тоже не говоря ни слова. Наконец он налил стакан воды и поставил его передо мною. Я сделала глоток, но рука так дрожала, всю меня так трясло, что я поставила его обратно.

– За что мне запрещены свидания? – с трудом вытянула я наконец из своего горла.

Не останавливаясь и по-прежнему шагая по комнате, Котляревский проговорил:

– Вероятно, в наказание за то, что ваш сын не отвечал чистосердечно на вопросы, на которые он обязан отвечать.

– А, значит, только предатели могут видаться со своими матерями! – И тут я потеряла всякое сознание того, что я говорю, всякое самообладание и говорила, говорила, не переставая; сама себя я услышала только тогда, когда выкрикнула последнюю фразу: «И вы, человек образованный, в этой грязной яме!» Тут я несколько опомнилась, хотела встать со стула, но не могла и начала опять пить воду.

Котляревский, облокотившись на спинку пустого стула и наклонившись ко мне, проговорил резко и отчетливо, но не громко: «Как вы смеее в таком виде являться сюда? Берегитесь!» – и с шумом отодвинул свой стул, как бы приготавлиаясь сесть за стол. Я встала и пошла к двери, не прощаясь и не говоря ни слова.

Только ночью, лежа в постели и вспоминая все происшедшее за день, я ужаснулась при мысли, что, вероятно, наговорила Котляревскому такое, что повредит моему сыну, что теперь я лишаяюсь единственного человека в жандармском управлении, который деликатно относился ко мне. Меня мучила и моя несправедливость относительно Котляревского: за его внимание я отплатила ему дерзостью. Я давала себе

слово впредь молчать, когда что-нибудь будет меня сильно волновать, ужасалась своей неводержанности вообще, хотя уже и тогда была в возрасте, смежном со старостью, но сумела выдрессировать себя в этом отношении лишь гораздо позже. Я решила не показываться более к Котляревскому на глаза, да в этом пока и не было нужды. Знакомые посоветовали мне пропустить еще одно свидание, а затем навести справки у начальника дома предварительного заключения, не получилось ли для меня дозволение снова ходить на свидания. Оказалось, что такое разрешение только что получено.

При каждом «личном свидании» я замечала, как пагубно отзывалась тюрьма на здоровье моего сына. Ввиду того что окончание его дела все затягивалось, я просила директора департамента полиции о том, чтобы мне отдали сына на поруки под денежный залог.

– Политическому преступнику не место в вашем доме, в котором собираются писатели и вообще люди неблагонадежные. Нам известно и то, что вам наносили визиты и только что выпущенные из дома предварительного заключения, – сказал мне директор.

Наступило лето, и я переехала с семейством на дачу. Я написала моей престарелой матери, чтобы она попыталась с своей стороны подать прошение с просьбою отдать ей внука на поруки, но она долго не откликнулась на мое письмо, и я совершенно не понимала, почему не получаю от нее ответа.

В одно из свиданий с сыном я вдруг заметила кровоподтеки на его висках. Это так меня встревожило, что я опять отправилась к директору департамента полиции, который, расспросив, где я теперь живу, к моему удивлению, сразу разрешил мне взять сына на дачу с условием, чтобы я внесла денежный залог, предупредив меня при этом, что, если к осени дело его все еще не будет окончено, он, то есть директор, никоим образом не дозволит ему жить со мною в Петербурге. Все же это быстрое согласие на исполнение моей вторичной просьбы, вопреки категорическому отказу в первый раз, вероятно, объясняется тем, что и тюремный врач заметил крайне болезненное состояние арестованного. Я внесла требуемый от меня залог и скоро после этого должна была за какой-то справкой снова явиться к директору, который объявил мне, что получил прошение от бабки моего сына.

– Теперь уже я отдал распоряжение о том, что ваш сын будет жить с вами на даче, но осенью вы должны отвезти его к вашей матери.

Так говоря, он просматривал какую-то бумагу, и мне показалось, что это и было прошение моей матери: он спрашивал меня о месте ее жительства, о том, с кем она живет, и при этом сверял с тем, что написано было в бумаге, которую он держал. Через недели две после этого я получила письмо от матери, которое носило явные следы перлюстрации, а потому и получилось гораздо позже, чем следовало. Причину своего долгого молчания моя мать объясняла сво-

ею болезнью. Она прислала мне и копию с своего прошения: в нем говорилось, что она живет в девяноста верстах от железной дороги, в глухой деревне Бухоново Смоленской губернии, в местности, в которой не существует ни фабрик, ни заводов. Она просила исполнить ее просьбу вследствие ее болезни, «надвигающегося конца ее жизни, полного одиночества, так как с нею никого нет, кроме психически больной дочери, а также ввиду заслуг, оказанных родине ее двумя родными братьями Иваном и Николаем Степановичами Гонецкими».

В продолжение всего лета на даче, несмотря на пребывание в ней моего сына, полиция совершенно не беспокоила нас. Осенью я отправилась в Смоленскую губернию и с крайним страхом оставила моего сына у матери, так как она жила с моей старшей сестрой, в то время душевнобольной. Меня очень тревожила мысль, как отразится ее болезнь на моем сыне, незадолго перед этим перенесшим тюремное заключение.

Очень скоро после моего возвращения меня посетили Давыдовы – мать и дочь. Когда мне сказали о их приезде, мне невольно пришло в голову, что с отъездом моего сына мой дом для Александры Аркадьевны оказывается неопасным. Кстати замечу, что хотя у ее дочери и был обыск, но совершенно поверхностный, и только в ее комнате; к допросу ее тоже привлекали, но ей совсем не пришлось поплатиться тюрьмой. Она нередко в присутствии матери рассказывала

близким знакомым весьма неприятные вещи для самолюбия Александры Аркадьевны, но они не оскорбляли ее, так как все это ее дочь высказывала хотя и в иронически-фамильярном тоне, но чрезвычайно добродушно и мило. И на этот раз Лидия Карловна в лицах представляла ту сцену, которую ее мать, по ее словам, «закатила» мне тогда и как ее отец, в ожидании «трагического ужаса» для его семьи, мрачно ероша свои волосы, нервно бегал по комнате. Александра Аркадьевна то хохотала, то бросалась обнимать меня.

– Даю вам честное слово, – сказала Лидия Карловна, обращаясь ко мне, – что мама вполне сознательно стыдится теперь своего «гнусного поведения» и уже давно убедилась в том, что, если бы вы тогда уехали от нас, не переговорив со мной, я просидела бы в тюрьме несколько месяцев.

И обе они начали просить меня приезжать к ним, что, по их словам, им только и могло бы доказать, что я более не сержусь на них. Инстинкт, однако, подсказал мне, что до совершенного окончания «дела» моя нога не должна переступить порога их дома. И я под разными предлогами не показывалась у них, хотя обе они навещали меня от времени до времени. Моя предусмотрительность, как оказалось, имела основание.

По письмам, получаемым из деревни, я видела, что моя престарелая мать все более расхварывается. Наконец доктор, лечивший ее, написал мне, что она доживает свой последние дни и чтобы я торопилась приехать к ней, если желаю про-

ститься с нею перед вечной разлукой. Это новое горе, свалившееся на мою голову, удручало меня вместе с мыслью о том, что-то будет с моим сыном после ее смерти? Он не мог жить в деревне не только потому, что отдан был на поруки своей бабушке, но и потому, что в доме после ее смерти могла остаться только больная сестра, психическая болезнь которой все усиливалась. Это удручавшее меня известие было получено мною как раз в приемный день директора департамента полиции, и я отправилась к нему. Когда я объяснила, в чем дело, он, вспыхнув от гнева, резко проговорил: «Вы с своим сыночком больше всех доставляете нам хлопот!» – и добавил, чтобы я вошла в его кабинет, когда будет окончен прием. Опять повторив с большими подробностями те же упреки за то, что я-де поставила его в затруднительное положение, он указал на то, что окружающие часто преувеличивают опасность болезни близких им людей. Я подала ему бывшее при мне письмо земского врача вполне официального характера и сказала, что раньше кончины моей матери я не уеду из деревни, – следовательно, не могу взять оттуда и моего сына. Это, вероятно, заставило г. Дурново поверить, что с моей стороны тут нет никакой мошеннической проделки, чтобы какими бы то ни было средствами взять сына из деревни; к тому же я представила для этого достаточно данных, по которым департамент полиции мог проверить справедливость моих слов. В конце концов директор департамента согласился на то, чтобы мой сын после возвращения

из деревни остался жить со мною в Петербурге ввиду того, что его дело должно окончиться очень скоро.

Не прошло и нескольких дней после нашего приезда в Петербург, как А. А. Давыдова просила нашего общего знакомого передать мне, чтобы я не вздумала теперь посетить ее дом, так как Лиде это грозит опасностью. Я немедленно ответила ей письмом приблизительно в таком духе, что она имела бы некоторое право предупреждать меня, чтобы я удержалась от посещения ее семейства, если бы я, согласно многократным ее просьбам, хотя раз воспользовалась ее приглашением. Но так как я ни разу не была у нее после сцены, которую она мне устроила, то я принимаю переданные мне ее слова за крайнюю неделикатность с ее стороны, недобросовестность и дикую, рабскую трусость.

Неделю-другую спустя после этого ко мне приехал Николай Константинович Михайловский. Поговорив о моем путешествии и о моих делах, он перешел к «истории» с Давыдовой: она, по его словам, была сообщена ему не только Александрой Аркадьевной, но и ее дочерью, которая, в чем я нисколько не сомневалась, передавала ее с свойственным ей беспристрастием.

В своих отношениях к знакомым Николай Константинович, как истинный джентльмен, всегда стоял за то, чтобы люди порядочные крепко держались друг друга: то одному, то другому из поссорившихся он обыкновенно указывал на хорошую черту характера его противника и всегда старался

объединять людей известного круга. Я не мало удивлялась, как этот заваленный редакционными делами человек, почти ежемесячно пишущий огромные статьи, мог урывать время, чтоб забежать к нескольким знакомым исключительно для того, чтобы уговорить их непременно явиться на какое-нибудь празднество в честь того или иного общественного деятеля, на похороны писателя и т. п. Конечно, в этих случаях дело шло обыкновенно о людях, являвшихся носителями тех общественных идеалов, которым он сам служил всю свою жизнь. Много горячего участия, внимания и сочувствия не только на словах, но и на деле проявлял он к каждому общественному деятелю, если ему приходилось с ним сталкиваться, пострадавшему от нашей общественной неурядицы. Но у него было не мало знакомых и в простой обывательской среде, много поклонников и поклонниц, которым он оказывал большое внимание. Однако относительно лиц этой последней категории он нередко разочаровывался, так как зачастую проявлял большую симпатию к людям, совсем не заслуживающим этого. Но до наступления разочарования Николай Константинович относился к некоторым из них до такой степени пристрастно, что, говоря о них, терял даже всякое чувство меры, точно влюбленный, и нужно заметить, что так было относительно и женщин и мужчин.

В ту пору, о которой я упоминаю, Николай Константинович, увлеченный красотой и умом Александры Аркадьевны, был возмущен моим письмом к ней, а еще более, как оказа-

лось, мою фразу о том, что она, прожив всю свою жизнь среди людей, которые арестовывали других, теперь начала путаться среди тех, которых арестуют, а потому-де не умеет держаться с ними мало-мальски добропорядочно. Эти слова, видимо, показались Николаю Константиновичу очень оскорбительными для достоинства Александры Аркадьевны.

– С вашей стороны, – говорил он мне, – было довольно-таки жестоко пользоваться преимуществами своего положения. Александра Аркадьевна не могла самостоятельно выбирать своих знакомых: когда она вышла замуж, она была для этого слишком молода. Да и почему вы так смело утверждаете, что круг ее знакомых состоял из людей, которые арестуют? Я вовсе не хочу этим сказать, что все это были, поскольку мне известно, превосходные люди, но едва ли на всех можно взводить такое обвинение.

Я объяснила ему, что мои слова были вызваны сценой, которую она устроила мне, а мое резкое письмо – ее неделикатным предупреждением меня через общего знакомого, чтобы я не посещала ее, хотя я ни разу не была у нее, несмотря на многократные ее просьбы и посещения моего дома. Понятно, что на такой ее поступок я не могла посмотреть иначе, как на наглость, ничем не вызванную с моей стороны, и как на дикую трусость.

Николай Константинович настойчиво продолжал ее оправдывать.

– Я вполне признаю, – говорил он, – что трепет Алексан-

дры Аркадьевны перед городовыми и обысками доходит у нее до комизма, что трусость вообще качество не особенно почтенное, но многие весьма образованные люди, а один мой знакомый, можно даже сказать «косая сажень в плечах», сознавались не мне одному в своей боязни мертвецов. Они знают, что покойник не схватит их за бороду, и в то же время ни за что не останутся в комнате, где лежит тело покойника. Нелепыми страхами страдают очень многие...

Его доводы в защиту Александры Аркадьевны меня совсем не убедили: я прекрасно знала, что они всегда бывают таковыми, когда ему приходится защищать своих любимцев. Однажды при мне ему кто-то рассказал о неблагоприятном поступке одного его приятеля (к которому он питал в то время большую приязнь, но впоследствии совершенно разочаровался в нем), а Николай Константинович заметил: «Это совсем неправдоподобно: взгляните только сами на физиономию Кривенко, – ведь он точно с образа сорвался».

В начале 1888 года я узнала, что мой сын будет приговорен к пяти годам ссылки в Архангельскую губернию. Узнав из газет о времени приема министра юстиции Манассеина, я отправилась к нему. Оказалось, что видеть его, как и большинство других министров в то время, было совсем нетрудно: о днях их приемов печаталось в газетах и большинство министров было совершенно доступно публике.

В передней Манассеина сидел чиновник, который записывал фамилии просителей и кратко то, о чем они желали го-

ворить с министром. Затем посетитель входил в приемную и садился подле просителя, пришедшего перед ним, чтобы не нарушать очереди. В точно определенный час в комнату вошел министр. Все встали, и он выслушивал просьбу каждого. Один из посетителей – чиновник – просил о том, чтобы его сына не отправляли по этапу, а дозволили ехать на собственный счет. При этом он подал докторское свидетельство, тут же прочитанное министром, в котором значилось, что сын просителя только что вынес тяжелую форму дифтерита и что путешествие по этапу может оказаться весьма вредным для его здоровья. Когда очередь дошла до меня, я стала просить министра об ослаблении наказания моему сыну, доказывая, что перевод Туна и составление примечаний к нему, при том условии, что эта книга не получила никакого распространения, не заслуживает такой тяжелой кары, какая ему назначена. Министр внимательно выслушал меня; по его замечаниям и сделанным мне вопросам я видела, что он с делом вполне знаком. Когда я кончила, он сказал мне:

– Я совершенно не могу смотреть на преступление вашего сына так, как смотрите вы, его мать.

Он уже хотел обратиться к следующему, когда я начала его просить о том, чтобы он дозволил моему сыну отправиться в ссылку не по этапу.

– Правда, он не перенес никакой тяжелой болезни перед этим, – говорила я, – но он очень слабого здоровья.

Вместо ответа министр спросил меня:

– Многочисленные учебники и книги для чтения юношества – ваши произведения?

Я отвечала, что учебников не писала, но книг для чтения юношества и педагогических работ у меня немало. На это министр сказал, обращаясь к чиновнику, стоявшему подле него:

– Запишите, что бывшему студенту Водовозову дозволено отправиться в ссылку на свой счет.

В феврале 1888 года мой сын отправился в Архангельск, где местный губернатор назначил местом его ссылки город Шенкурск. Спустя некоторое время после этого мне прислано было извещение из жандармского управления, по которому я должна была явиться за получением залога, внесенного процентными бумагами различной ценности. Служитель ввел меня в комнату, и я села на стул перед столиком. Через несколько минут ко мне быстро вошел жандармский ротмистр П., держа в руках пачку процентных бумаг. Он бросил их на стол с словами:

– Извольте расписаться в получении, и сейчас же. Если бы он обратился ко мне с обычной в таких случаях вежливостью, я бы, конечно, не заставила его напоминать мне о том же. Но он не вручил мне бумаги, а бросил их на стол, и не просил меня расписаться, а отдал приказание, сделанное повелительным и резким тоном. Ничего не говоря, я открыла свою сумку, взяла портмоне и уже начала вынимать из него бумажку, в которой были записаны номера билетов и стои-

мость каждого из них, как вдруг ротмистр подошел ко мне совсем близко и еще более резким голосом прошипел почти над моим ухом:

– Как вы смеете слушаться? Вам приказано сейчас же подписаться. Делайте, что вам велят!

– Приказывать мне вы ничего не смее. Сначала проверю, а потом подпишусь, – сказала я, невольно отодвигаясь от него.

– Проверять? Это еще что за фокусы? Да как вы смеете мне это говорить даже? Мне некогда с вами возиться! Ну, живо! – Но он, должно быть, не рассчитал своего голоса и последние фразы хрипло прокричал.

Я вскочила с своего места и, глядя ему в упор, резко ему ответила:

– Я буду жаловаться на ваше непозволительное поведение. И чем дольше вы мне будете мешать проверить мои бумаги, тем медленнее...

– Как вы осмеливаетесь так разговаривать со мною? – шипел ротмистр, перебивая меня, повторяя одни и те же фразы и не замечая, что в дверях, спиной к которым он стоял, остановилась высокая фигура Котляревского.

Не знаю, была ли дверь комнаты открыта или полуоткрыта, услышал ли Котляревский, случайно проходя по коридору, наши резкие пререкания, но он неторопливо приблизился к столу и обратился ко мне с вопросом:

– Что все это значит, сударыня?

– Я хотела проверить номера билетов прежде, чем расписаться в их получении. . . Не все эти процентные бумаги принадлежат мне. А господин ротмистр не только мешает мне это делать, но все время возмутительно дерзко кричит на меня.

– Госпожа Водовозова, как только входит в жандармское управление, так, по обыкновению, начинает скандалить. А теперь, вместо того чтобы расписываться в получении бумаг, воспользовалась случаем, чтобы наговорить мне массу дерзостей;

Одинаково флегматично выслушал Котляревский как ту, так и другую сторону и, обращаясь ко мне, сказал:

– Потрудитесь считать.

Я начала сверять билеты с моею записочкою, пересчитала и пересмотрела их один и другой раз, но не находила среди них сторублевого билета первого выигрышного займа и заявила об этом Котляревскому.

– Я все бумаги принес. Госпожа Водовозова то хватала процентные листы, то бросала их, то открывала и закрывала свою сумку. Почему я знаю, куда она их дела!

– Господин ротмистр, потрудитесь принести недостающий билет первого выигрышного займа, – не понижая и не повышая голоса, все таким же флегматичным тоном обратился Котляревский к ротмистру.

– Вы, значит, больше доверяете госпоже Водовозовой, чем мне?

– Господин ротмистр, потрудитесь принести недостающий билет первого выигрышного займа. Поищите где-нибудь там... ну, под стулом, под конторкой... вообще там где-нибудь. – И опять ни иронии, ни повышения голоса, ни малейшей улыбки на губах.

Ротмистр вышел, Котляревский шагал по комнате, а я молчала. Через несколько минут вошел ротмистр с лицом, покрытым красными пятнами, и с процентного бумагою в руке.

– Действительно, она завалилась... – проговорил он крайне сконфуженно и положил бумагу на стол.

– Я же вам говорил. А теперь к делу: потрудитесь снова пересчитать и сказать, все ли вы получили. – И это Котляревский произнес прежним невозмутимым тоном.

Когда я расписалась в получении, ротмистр моментально исчез.

– Сердечно благодарю вас, и не только за отыскавшиеся деньги... Без вас ротмистр, право, кажется, мог бы меня избить.

Котляревский выслушал мои слова молча, с обычным индифферентизмом, наклонил голову, как будто давая этим понять, что аудиенция уже окончена.

II

С первого года ссылки моего сына я уже начала мечтать о том, чтобы ему дозволено было приехать держать государственные экзамены. Это заставляло меня усердно расспрашивать у знакомых, не знают ли они примера, чтобы высланному студенту дозволено было приезжать из ссылки держать выпускные экзамены университетского курса; Многих поражал этот вопрос своею наивностью, и мне старались объяснить всю глубину моего непонимания основы и цели, на которых у нас существует и держится административная ссылка. А Сергей Николаевич Южаков всем говорил, что это у меня навязчивая идея, что меня не следует разочаровывать в несбыточности этой надежды. Я прекрасно понимала всю трудность добиться желаемого, но дала себе слово отдать все мои силы для осуществления моей мечты.

Прошло уже более года, но мне никто не мог подать совета, как приступить к делу. А собранные сведения все более красноречиво говорили мне, что мои мечты бессмысленны и беспочвенны. Минутами я приходила в отчаяние, но только минутами, а затем подбадривала себя и давала слово не падать духом.

Осуществление моего желания зависело прежде всего от разрешения министра народного просвещения, министра внутренних дел и департамента полиции: и я раздумывала,

с кого из них начинать хлопоты. Вдруг как-то читаю в газете известие, что князь Голицын, архангельский губернатор, приехал в Петербург и остановился там-то. На другой же день отправляюсь к нему. Ко мне вышел человек, по виду средних лет, с интеллигентным лицом, изящный, воспитанный, в выражении физиономии которого совершенно отсутствовала официальная или чиновничья печать. Это дало мне возможность, не конфузясь и без страха, изложить ему мое дело. На его вопрос, были ли примеры такого дозволения, я отвечала, что до сих пор, сколько я знаю, их не было, но что, ввиду все учащающихся случаев самоубийств и психических расстройств среди сосланных, а также и потому, что нельзя же всю жизнь карать человека за одну ошибку, я рассчитываю, что администрация примет все это во внимание и снизойдет к моей просьбе.

– За одну ошибку, как вы говорите, а по понятиям администрации – за политическое преступление, она вовсе не карает всю жизнь: например, ваш сын сослан только на пять лет. И если он в это время не совершит нового политического преступления, а по вашей терминологии, ошибки, он будет освобожден и может держать какие угодно экзамены.

– Ссылку обыкновенно приходится считать вдвое сравнительно с сроком, первоначально назначенным администрацией. Если такой срок определен в пять лет, то по истечении этого времени ссыльного в громадном большинстве случаев освобождают еще не совсем, а лишь позволяют передвинуть-

ся в местность, с несколько более благоприятными условиями для жизни, где ему приходится провести еще два-три года; затем ему разрешают переехать в еще более культурный пункт, где он опять проводит столько же. А через лет десять, когда ему уже не помешают жить в провинциальных университетских городах, молодой человек обыкновенно до такой степени исстрадается в ссылке, выпьет до дна всю чашу всевозможных ужасов, сопряженных с нею, что уже совершенно теряет стремление к научной деятельности, при этом нервы его вконец расшатались, здоровье ослабело. В продолжение этих десяти лет оторванный от всего близкого и родного, он чаще всего обзаводится семьей, а между тем найти заработок без университетского диплома в настоящее время чрезвычайно трудно.

На вопрос князя, чем он может мне помочь в этом деле, я просила его, если у него будет запрос о моем сыне из министерства внутренних дел или из министерства народного просвещения, не ставить ему препятствий для временного отпуска его из ссылки.

— Если местная администрация не укажет на какие-нибудь неблагоприятные поступки по отношению к ней с его стороны, я даю вам слово не ставить ему ни малейших препятствий, а указать даже на его склонность к серьезным занятиям, о чем мне сообщали уже не раз. Я сделаю это охотно, потому что вполне сочувствую вашему предприятию и искренно желаю вам успеха.

Я просила его о дозволении прислать ему по почте изложение на бумаге всего дела, но он отклонил это, обещав не забыть. По прекрасному впечатлению, произведенному на меня князем Голицыным, я вполне поверила его слову, и не ошиблась. Впоследствии ему действительно был сделан такой запрос, и он дал вполне хороший отзыв.

Господи, каким восторгом билось мое сердце, когда я возвращалась домой! Первая попытка увенчалась успехом – это очень подбадривало меня при многих последующих препятствиях. Я не раз слышала о том, какую массу хлопот приходится предпринимать и как долго длятся они, пока добиваются перевода даже крайне больного ссыльного для лечения у специалиста, хотя бы даже и в местность, весьма удаленную от культурных центров. Подобные разрешения получались нередко уже тогда, когда ссыльный умирал или по слабости здоровья совершенно не мог предпринимать никакого путешествия. Это заставило меня вплотную приступить к хлопотам уже в 1889 году; начать их я решила с департамента полиции.

Порядки в этом учреждении в период его управления Петром Николаевичем Дурново в качестве директора были образцовые. Такое суждение я высказываю не как специалист, понимающий механизм чиновничьей машины, а только как человек, которому приходилось нередко обращаться в учреждения, имеющие целью, как говорилось тогда на официальном языке, уничтожение крамолы или искоренение небла-

гонадежных элементов. Только в департаменте полиции, начальником которого был в то время П. Н. Дурново, можно было скоро добиться необходимых сведений, только в этом учреждении не прибегали к ненужным обманам родственников арестованных или осужденных за так называемые политические преступления. В остальных учреждениях этого рода без церемонии прибегали к совершенно бесцельным обманам, что страшною болью отзывалось в сердцах людей, близких осужденному, уже и без того измученных его печальною участью. Так, например, получается известие, что арестованный будет отправлен в ссылку через столько-то времени, нередко с точным обозначением дня отправки. Несчастных родителей ради этого случая очень часто выписывали из отдаленной провинции. Бросив все дела, они приезжали в назначенный срок, надеясь повидать своего сына или брата, а то и для того, чтобы проститься с ним навсегда перед вечной разлукой, между тем этого сына или брата уже отправили в ссылку за несколько дней до назначенного родственникам срока. Но директор департамента полиции П. Н. Дурново не прибегал к таким бессмысленным средствам, и чиновники держались при нем корректно, наводили надлежащие справки даже тогда, когда родственникам политических случалось приходиться за ними в неприемные дни директора. Что Дурново держал их всех в струне, видно из того, что, как только он ушел из департамента, все порядки в нем сразу изменились к худшему для родственни-

ков политических.

Петр Николаевич, поскольку мне приходилось сталкиваться с ним в этом учреждении, был человек вспыльчивый, но отходчивый, относился к нам, родителям, с непоколебимой прямою, доходящей нередко до невероятной грубости, но характер его в известной степени не лишен был своего рода благородства. Правда, он нередко утешал убитую горем старуху-мать такими словами: «Ваше сведение вполне справедливо о том, что вашего сына хотели отправить в ссылку на три года, а я подал голос за пятилетний срок, – за содеянное им и этого еще мало...» Но напрасно заставлять терять время за какой-нибудь справкой, давать заведомо облыжное указание – этого не водилось при нем в департаменте полиции. Петр Николаевич был таким же врагом ненужной жестокости, хитрости и двоедушия, каким он был врагом «политических авантюристов», как он называл арестованных и осужденных по политическим делам. Если враг был у него в руках и «сидел смирно», как он выражался, он не прочь был исполнять маленькие просьбы его родственников: позволял им иногда лишнее свидание, давал разрешение двум, а то и трем лицам, в экстраординарных случаях ходить на свидания к заключенным, допускал с воли врача к сильно занемогшему и позволял кое-что другое в таком же роде. Конечно, он был всегда на страже, чтобы его даже и такая снисходительность не переходила границ. Иногда во время приема, строго соблюдая очередь, он подходил к девушке,

которая просила его разрешить ей свидание с таким-то арестованным, так как она его невеста. Директор тут же приказывал немедленно справиться, сколько лиц приходит на свидание к такому-то политическому. Если оказывалось, что их уже двое или трое, он обращался к девушке с словами вроде следующих: «Невест-то у него ещё много будет! Я не могу позволить переполнять приемную». Если же к заключенному приходило мало посетителей, он обыкновенно не отказывал в просьбе желающим. Бывали и такие случаи: смотритель спрашивает нас, ожидающих свидания с заключенными, не может ли кто-нибудь из нас найти для такого-то политического товарища или знакомого, который пожелал бы его навещать: «Директор дал знать, что он дозволит свидания». Когда мы расспрашивали смотрителя о заключенном, которого никто не навещал, он рассказывал нам, что его родные в провинции, а он заскучал и мало ест. Неизвестно, конечно, вытекало ли это из чувств человеколюбия или из боязни все большей смертности в тюрьмах.

Хотя Петр Николаевич и мне делал немало подобных одолжений, но я чрезвычайно побаивалась идти к нему в этот раз, так как дело шло об одолжении несравненно более серьезном, чем все предыдущие; особенно опасалась я его гневной вспышки и того, что он, выслушав первую фразу, не даст мне до конца изложить мою просьбу. И вот в день и час его приема я стояла среди просителей, которых у него всегда было очень много. Когда очередь дошла до меня, то прежде

чем я успела открыть рот, гнев внезапно охватил его в такой степени, что все лицо его покрылось красными пятнами.

— Как, опять вы? Чего же вы, наконец, хотите от меня? Разве для вас мало было сделано? Несмотря на серьезное политическое преступление, ваш сын отдыхал у вас на даче; вместо того чтобы опять посадить его в тюрьму, я отправил его в деревню. Но и там ему не пожилось! Для него все слишком плохо и всего мало! Да чего же вы, наконец, желаете? Если вы так дрожите над своим сыном, вы и должны были так воспитать его, чтобы он не занимался политическими авантюрами.

В продолжение всей этой речи я только и думала о том, как бы улизнуть. Как только он подвинулся вперед, я тихонько выскользнула из круга посетителей. Он не спросил меня даже, зачем я приходила. А между тем, исполнял он или нет просьбу посетителей, он всегда внимательно выслушивал каждого. Однако на этот раз вспышка гнева заставила его забыть о том, что он не дал мне высказать моей просьбы. Но я была бесконечно рада этому: если бы он тогда спросил меня, в чем моя просьба, я должна была бы ему объяснить задуманное мною, а так как он был не в духе, то это вызвало бы с его стороны еще несравненно больший гнев. Неудавшаяся попытка заставила меня не показываться директору на глаза довольно продолжительное время, но когда я снова пришла к нему, то по выражению его лица мне показалось, что он настроен более благодушно, чем в последнее наше свидание.

– Вы ведь как-то совсем недавно приходили сюда? О чем вы тогда просили?

– В последний раз я не решилась высказать вам свою просьбу, ваше превосходительство.

– Почему же? Я, кажется, всех выслушиваю! Я не могу выполнять всех фантазий просителей относительно политических преступников, но разумную просьбу я по возможности стараюсь удовлетворять. В чем же дело?

Но голос мой, несмотря на мои усилия, не слушался меня, язык не поворачивался.

– Если вы чем-нибудь стесняетесь, войдите в кабинет после приема.

Я так и сделала, но и оставшись с ним с глазу на глаз, долго собиралась с силами: прокашливалась, заикалась, путалась. Наконец у меня вырвалось как-то само собой:

– Хочу просить о дозволении моему сыну держать государственные экзамены, а для этого прошу разрешить ему на время приехать из ссылки.

Директор сидел через стол напротив меня и наклонился, чтобы лучше вслушаться в мои слова.

– Совершенно не понимаю, что такое: говорите громче.

Наконец я высказала то, что хотела, и настолько определенно, что для него уже не могло быть ни малейшего сомнения в том, о чем я прошу. Директор весело и добродушно расхохотался.

– С такими просьбами еще никто ко мне не обращался!

Ну и фантазерка же вы! Ведь вот что выдумали! Только этого и недоставало. Разве вы не понимаете даже и того, что это гораздо более зависит от других, чем от меня?

– Но если бы все лица, от которых зависит такое разрешение, согласились исполнить мою просьбу, могу ли я рассчитывать, ваше превосходительство, что вы с своей стороны не будете этому препятствовать?

Быстро выговорив все это, я решила, что теперь уже долготерпение директора лопнет и надо мною разразится гроза. Я встала с кресла, чтобы ретироваться при первой возможности. Но вдруг Петр Николаевич опять раскатисто расхохотался и, махнув рукой, проговорил:

– Не буду, не буду мешать!

Все отношения П. Н. Дурново как ко мне, так и к другим родственникам «политиков» вполне свидетельствовали о том, что он честно держит свое слово, но я понимала, что обещание, данное мне, скорее носило насмешливый, чем серьезный характер; его смех и слова при этом звучали издевательством над моею наивностью. Но что же делать! Если бы в них было еще более яда, не могу же я из-за этого похерить надежду, которая так поддерживает меня? Не могу же я не идти дальше, не добиваться достижения своей цели? И я решила, что если и не добьюсь успеха, то по крайней мере буду чиста перед своею совестью, что, несмотря ни на что, сделала решительно все, что только могла.

После этого я начала всех расспрашивать о Делянове и

о том, как он принимает посетителей. Наконец я встретила знакомого С., который лично хорошо знал Делянова. Он мне сообщил следующее: на приемах у министра он не бывал, но ему не раз приходилось беседовать с ним и слышать его рассуждения о многих современных вопросах.

– Я нисколько не сомневаюсь в том, – сказал он мне, – что, по мнению министра, удовлетворять подобные домогательства, как ваше, – значило бы поощрять студентов к политическим преступлениям. Делянов человек не злой, иногда выказывает даже мягкосердечие, но на редкость слабохарактерный. Если бы и была какая-нибудь возможность уломать его исполнить вашу просьбу, то уже затем вам пришлось бы встретиться с таким препятствием, преодолеть которое совершенно невыполнимо. Дело в том, что у Делянова два докладчика: Аничков и Эзов. Все, о чем у него просят, должно быть изложено на бумаге. Аничков, главный и почти единственный докладчик, рассматривает все просьбы и доклады и докладывает их министру, делая при этом свои замечания, высказывая о них свои мнения. Это человек с непреклонною волею и настоящий злопыхатель, с самыми заскорузлыми реакционными взглядами, – вот он-то и оказывает на Делянова громадное влияние, и конечно, в самом консервативном смысле. Если бы и возможно было такое чудо, что министр был бы не прочь благосклонно отнестись к вашей просьбе, то Аничков счел бы своим долгом напомнить ему, что относительно политических все подобные поблажки – антигосу-

дарственный проступок. По-видимому, Делянов сильно побаивается Аничкова, но в то же время крепко прицепился к нему. Если бы доклады министру делал Эзов, я бы посоветовал вам попытать счастья, хотя и тогда едва ли ваша просьба могла бы иметь успех. Но при Эзове все-таки была бы какая-нибудь надежда: это весьма образованный, порядочный и вполне благожелательный человек. Я уверен, что он сделал бы все, чтобы поддержать вашу просьбу перед министром. Но ему поручаются доклады лишь в самых редких случаях, когда Аничков по делам куда-нибудь уезжает или когда он хворает. Но, насколько мне известно, он всегда здравствует и крайне редко куда-нибудь уезжает.

Я просила моего знакомого известить меня, если вдруг, совершенно неожиданно, Эзов явится докладчиком. Мне интересно было также узнать мнение С, почему Делянов, побаиваясь Аничкова, держится за него более крепко, чем за Эзова.

– Вероятно, потому, что Аничков более соответствует как его взглядам, так и современному положению вещей: вдохновляемый им, министр не боится совершить какую-нибудь оплошность относительно правительства при его современном направлении. Что же касается самого Аничкова, то, зная слабость министра просвещения, которого вследствие бесхарактерности можно хотя изредка чем-нибудь разжалобить или склонить на что-нибудь более или менее либеральное, он и старается быть у него единственным докладчиком.

Я решила пока выжидать. Вдруг в Петербурге появилась какая-то неизвестная до тех пор эпидемия, которая валом валила с ног массу народа. В газетах то и дело появлялись известия о том, что на той или другой фабрике, в школе, в казармах внезапно заболело множество людей; немало больных оказывалось и среди всех классов общества. Доктора называли эту эпидемию инфлюэнцией... Я немедленно написала моему знакомому, чтобы он справился, не захворал ли Аничков. Каково же было мое удивление и мой восторг, когда мой знакомый через два-три дня после этого приехал сказать мне, что Аничков действительно захворал, что доклады министру, по крайней мере в продолжение нескольких дней, будет делать Эзов. И я отправилась к Делянову в дом армянской церкви, где он жил тогда. В вестибюле швейцар взял мою верхнюю одежду, и я, поднявшись на одну лестницу, очутилась в крошечной передней, которую скорее можно было назвать узеньким коридорчиком. Налево была дверь в кабинет министра, а против входа – дверь в приемную. В передней у окна стоял человек и усердно читал газету. Он стоял спиной к окну, так что ему видно было и ожидающих в приемной, и тех, кто выходил от министра. Он был одет в обычное штатское платье, и я не могла понять, какую должность он мог занимать. По отсутствию форменной одежды и по весьма интеллигентному выражению лица я не могла представить себе, чтоб это был простой лакей.

В приемной, куда я вошла, несмотря на полдень, стоял по-

лумрак; публика – дамы и мужчины – сидела, не двигаясь и не разговаривая между собой, напоминая не живых людей, а каменные изваяния. Я думала, что, когда наступит время, назначенное для приема, министр войдет в общую комнату и будет выслушивать нас по очереди, как это я видела у министра юстиции и в департаменте полиции. Однако прошло около часа, а до нас не доносилось ни звука, стояла по-прежнему гробовая тишина: никого не вызывали из приемной и никто не выходил от министра. Секретарь, лакей, или лучше назову его «любитель газет», стоял у окна, не меняя своего занятия: брал газету из одной пачки, быстро просматривал ее и, тщательно сложив, клал на Другую сторону. Я подошла к нему со словами:

– Простите, что я вас беспокою, но очень прошу вас сказать мне, примет ли меня сегодня министр?

– Я это знаю столько же, сколько и вы, – отвечал он холодно, продолжая и в эту минуту читать, а может быть, только смотреть в газету.

– А в данную минуту министр принимает кого-нибудь?

– Конечно.

– Будьте любезны, скажите мне, – может быть, я должна послать министру мою визитную карточку?

Он на минуту поднял голову от газеты и, иронически скривив губы, отвечал:

– Вы сами должны знать, имеете ли право посылать министру свою карточку.

Презрительный тон «любителя газет» и его высокомерие убедили меня, что послать министру визитную карточку было бы с моей стороны величайшей бестактностью, а может быть, и дерзостью. Очевидно, и для исполнения такого простого обычая нужно иметь известные права.

Я опять уселась на свое место, еще просидела несколько минут, но ненарушимая тишина стояла по-прежнему. Я спустилась вниз поговорить со швейцаром. Прежде чем открыть рот, я протянула ему несколько серебряных монет, и он опрометью бросился подавать мне пальто.

– Нет, нет... Я еще не уйду. Я хочу с вами поговорить.

– С превеликим моим удовольствием, ваше превосходительство.

Я хотела возразить ему, что я не превосходительство, но сочла это невыгодным для данной минуты.

– Скажите, пожалуйста, есть у министра прием сегодня? А если есть, то почему же из приемной никого не вызывают к нему и он сам не выходит к посетителям?

– У него сидит военный генерал, вон и ихнее пальто.

– Но ведь прошло уже более часа. Когда же министр успеет всех принять?

– Это вы верно сказали: его сиятельство никак не успеет всех принять. У нас сегодня до тридцати человек. Все ж примет двоих-троих. А те, с кем не успеет переговорить в этот раз, придут в следующий приемный день. Его сиятельство, граф наш, добрейшей души человек. Он ко всем снисходит.

Мне нередко говаривает: «Смотри, всех ко мне принимай: одёжа ли у кого простая, значит бедная, от моей двери никого не гнать». И как уж наш граф прост со всеми в обхождении! Точно он и не граф, точно он и не министр, точно он и не первое лицо в государстве.

– Однако как же долго приходится ходить к министру, чтобы наконец быть принятым им?

– А как же быть-то, ваше превосходительство? Ведь ежели, примерно сказать, придет к нему полный генерал либо придворный важный чин, ведь такого-то нужно отличить от других? Не может же его сиятельство два-три слова сказать с важнейшим лицом, да и по шапке его!

Но в эту минуту мне послышался сверху какой-то шум, и я бросилась на лестницу. Оказалось – пустая тревога. Я очень пожалела, что не успела спросить у швейцара, какую должность занимает при министре «любитель газет», столь нелюбезно отвечающий на вопросы. Посидела я в приемной еще несколько минут, и так как по-прежнему не было ни малейшего движения, то я подумала, что мне придется много и много раз приходить к министру, прежде чем удастся переговорить с ним, и что за это время, пожалуй, Аничков успеет выздороветь. Эта мысль придала мне такую отчаянную смелость, что я решительно подошла к «любителю газет», продолжавшему свое чтение, и положила поверх пачки трехрублевую бумажку, стараясь при этом загородить собою дверь в приемную, чтобы мой фортель не был замечен сидящими

в ней.

– Не сочтите это за дерзость... Пожалуйста, возьмите, простите, что мало... Объясните, бога ради, как добиться аудиенции у министра?

Любитель газет быстро обернулся ко мне, преспокойно взял трехрублевую бумажку, сунул ее в карман, вошел в приемную, вынес оттуда стул, прикрывая свободной рукой половинку открытой двери, и сказал, наклоняясь ко мне:

– Садитесь и пишите, что я вам продиктую.

При этом он достал из стола письменные принадлежности, нажал пружинку чернильницы и, подавая мне перо, спросил:

– Ваше имя, фамилия и звание?

– Писательница Елизавета Николаевна Водовозова.

– Писательница? Вы пишете в газетах или журналах?

– Я пишу книги и сама их издаю.

– Так это же прекрасно! – И он, быстро наклонившись к самому уху, начал диктовать приблизительно следующее:

– Ваше сиятельство, господин министр, простите, что я решаюсь беспокоить вас своею покорнейшею просьбою принять меня сегодня же, – меня вынуждает к этому неотложное дело. – Когда я хотела подписать свою фамилию, он остановил меня: – Назовите ваши сочинения, – и, когда я назвала, он продиктовал: – Писательница и издательница, автор книг «Жизнь европейских народов», в трех томах, и педагогического сочинения «Нравственное и умственное развитие де-

тей».

Только что я успела встать со стула, как послышались голоса у двери кабинета министра. Я вскочила в приемную и увидела, как высокий военный генерал проходил по кабинету. Не прошло и пяти минут после этого, как мой теперешний «благожелатель» вошел в приемную с словами:

– Его сиятельство министр народного просвещения приглашает к себе госпожу Водовозову.

Я вышла из приемной, но он опередил меня и раскрыл передо мною дверь кабинета министра. Когда я подошла к письменному столу, у которого сидел Делянов, он встал и протянул мне руку со словами:

– Я знал вашего покойного мужа. Как же, как же... Я прекрасно знал Василия Ивановича. Мне нередко приходилось беседовать с ним еще в ту пору, когда я был попечителем Петербургского учебного округа. Очень рад с вами познакомиться. Но скажите, пожалуйста, зачем это вы три тома написали о жизни еврейских народов?

– Я не писала, ваше сиятельство, о жизни еврейских народов: три тома моего труда носят название «Жизнь европейских народов».

Он взял со стола лист, написанный мною, и бегло взглянул на него.

– Ну да... ну да... я знаю, вы написали «Жизнь европейских народов», но ведь у вас тоже есть и труд «Жизнь еврейских народов», – настаивал он, видимо желая как-нибудь

вывернуться.

Мне пришлось повторить сказанное.

– Я знаю, у вас много книг... В качестве министра просвещения мне приходится знакомиться с огромным количеством выходящих изданий.

Весь этот разговор шел стоя, но тут министр указал мне на кресло, приглашая сесть, и, сам усаживаясь к столу против меня, подвигая ко мне коробку с папиросами, спросил:

– Вы курите?

Получив отрицательный ответ, он продолжал:

– А то, пожалуйста, не стесняйтесь! Не в моем характере стеснять кого бы то ни было. Я человек простой. Ко мне каждый может прийти: и богатый, и бедный, и человек, занимающий высокое положение, и совершенно простой. Для меня решительно все равны. Каждый может изложить мне свои желания, – я всех выслушиваю с одинаковым вниманием.

– Это и дало мне смелость явиться к вашему сиятельству.

Делянов действительно держал себя совершенно просто: ни в тоне речи, ни в его манерах не было ничего начальственного, никакой напускной важности или искусственности. Вот эта-то простота обращения и дала мне возможность разговаривать с ним без малейшего стеснения. В то время ему, по виду, было за шестьдесят лет. В его внешности меня поразило только необыкновенно круглая форма его головы.

– Вы получаете пенсию после смерти вашего мужа?

Я отвечала, что пенсии не получаю, так как мой покойный

муж прослужил в гимназии лишь двадцать один год, но что я пришла к нему совсем по другому делу.

– Ввиду заслуг Василия Ивановича на пользу просвещения, что вполне признано министерством народного просвещения, вы смело могли бы хлопотать о получении пенсии или, по крайней мере, полупенсии. Что же касается затруднений вследствие упущения времени и других препятствий, я счел бы своею обязанностью посодействовать вам, насколько это для меня возможно.

– От всей души благодарю, ваше сиятельство, но не об этом я пришла вас просить.

– Как, вы отказываетесь от пенсии? Следовательно, вы имеете хорошие материальные средства?

– Я решительно не имею никаких средств и живу исключительно литературным трудом.

– Странно! Очень странно! Как-то не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь упускал случай получить пенсию, когда для этого есть какая-нибудь возможность. Чем же я тогда могу быть вам полезным?

Я вкратце рассказала ему о ссылке моего сына и просила его позволить ему приехать в Петербург держать государственные экзамены.

– О чем вы могли бы просить и относительно чего я предлагаю вам мои услуги, вы категорически уклоняетесь... Как же вы, сударыня, не принимаете в расчет, что я как министр просвещения обязан беречь молодое поколение от

нравственной порчи, от политической заразы? Исполнив вашу просьбу, я допущу политического преступника в общество студентов, в аудиторию с остальными... Он опять начнет развращать молодежь, как и прежде.

На мой вопрос, каким образом мой сын развращал студентов, Делянов настойчиво отвечал:

– Да-с, развращал, это мне доподлинно известно! Университетское начальство и профессора прямо говорили мне об этом. Ведь за это-то его и сослали.

Я возражала, что он выслан за перевод Туна и за примечания к нему.

– Очень возможно, что это было уже последнею каплею. Но он развращал студентов своими речами и разглаговольствованиями в «Научно-литературном обществе», вся научность которого заключалась в том, чтобы вести противоправительственную пропаганду. Речи, рефераты молодых людей в этом обществе носили характер исключительно недозволенной пропаганды, дерзкой и крайне вредной.

– Насколько мне известно, на собраниях этого общества обыкновенно присутствовал кто-нибудь из профессоров.

– Что же из этого? Немало оказалось и таких профессоров, которые даже с кафедры вели революционную пропаганду. Вот, например, господин С«емевский»: он считается историком, а миропонимание этого ученого чисто революционное, сплошное осуждение правительства, даже в прошлом. С его точки зрения, основа нашей исторической жиз-

ни никуда не годна: наши финансы, экономическое положение народа – все это было отчаянное, неправда царила всюду, жестокости происходили такие, каких в то время нигде не бывало. И вот, извольте ли видеть, несмотря на то что в нашем прошлом ничего не было, кроме ужаса и мрака, Россия, слава богу, живет, и не только живет, но во всем мире считается могущественнейшею державою. Нет-с... таких вредных господ я не допущу на кафедру. Пускай пишет что угодно, это не мое дело. А вы, сударыня, сознайтесь чистосердечно, так же чистосердечно, как я с вами беседую, что вы решились вырвать у меня дозволение для вашего сына держать государственные экзамены с целью, чтобы затем потихоньку да полегоньку вытащить его на кафедру?

– Вполне чистосердечно сознаюсь вам, ваше сиятельство, что я никогда не читала и не слыхала, чтобы какая-нибудь мать могла втащить своего сына на кафедру. Может быть, это возможно при могущественных связях. Я же не имею никакой протекции, и даже к вам явилась по простому указанию в газетах о времени вашего приема.

– Для того чтоб явиться ко мне, никому не нужно запастись ни протекциями, ни рекомендациями: и бедным, и богатым, и знатным, и простым смертным – для всех широко открыта моя дверь.

– Вы только что сказали, ваше сиятельство, что заслуги моего покойного мужа признаны министерством просвещения и дают ему право на получение если не пенсии, то по-

лупенсии. Я вместо этого прошу лишь об одном – позволить моему сыну держать экзамены. Только об этом прошу, и больше ни о чем я не посмею утруждать вас.

– Ах, нет, нет! – заговорил министр даже с каким-то испугом, точно я прижимала его к стене. – Это даже очень нехорошо с вашей стороны, что вы так настаиваете на одном и том же! Это просто какое-то нравственное насилие! Поймите же: я не могу отказаться от своих взглядов на политических преступников. Мне из-за этого могут даже сделать запрос, почему я начинаю мирволить таким господам, как революционеры, которых я всегда считал величайшими врагами государства.

– Но ведь мой сын пострадал только за перевод сочинения немецкого профессора Туна. Ваше сиятельство, прошу вас, исполните мою просьбу.

– Нет, пожалуйста, прекратите этот разговор. Вы так настоятельно... так горячо об этом просите, что меня это даже волнует. – Он опять произносил это как-то по-детски, жалобно и точно испуганно. – Но я желаю от души быть вам полезным, а потому прошу вас, объясните мне чистосердечно причину, почему вы отказываетесь от пенсии.

Я отвечала, что могу изложить все дело вполне откровенно, но ввиду его посетителей очень боюсь его задерживать. К тому же я человек не светский, не сумею облечь в надлежащую форму то, что я желаю сказать, не сумею найти те обороты речи, в каких я только и могла бы все изложить ему

как министру.

– Насчет посетителей это уже моя забота. Повторяю, я всегда доступен для каждого: для меня несть эллин, несть иудей. Что же касается выражений, которых вы боитесь не найти в вашем лексиконе, чтобы достаточно почтить меня как министра просвещения, то я враг официального чиновничества. Да и вы, сударыня, не чиновник, числящийся на службе по моему ведомству.

И я правдиво и откровенно изложила ему следующее: когда разразилось дело Каракозова, у нас в доме не было никакого обыска, не призывали и моего покойного мужа к какому бы то ни было допросу или объяснению. Это было вполне естественно: он ни в каракозовском и ни в каком другом политическом деле не участвовал. А потому, когда весною кончились уроки в гимназии, он совершенно покойно уехал с семьею в деревню. Возвратился он в Петербург в половине августа, накануне начала своих занятий. На другой день он отправляется в гимназию на урок и вдруг узнает от швейцара, что его место занято другим учителем, который сегодня в первый раз только что явился на урок. Не веря своим ушам, Василий Иванович бросается к директору гимназии. Тот заявляет ему, что из министерства просвещения очень недавно получено официальное извещение о том, что В. И. Водовозов увольняется от занимаемой им должности в гимназии без объяснения причин. При этом директор добавил, что до получения этого заявления у него о Василии Ивановиче ре-

шительно никто ничего не спрашивал, никто не собирал о нем никаких сведений. Он, директор, сам поражен этим инцидентом и рассчитывал выяснить причину этого загадочного увольнения из личных объяснений Василия Ивановича.

Выгнанный без всякой причины и так неожиданно и бесцеремонно из гимназии, мой покойный муж прямо от директора гимназии отправился в пиротехническое и аудиторское училища, рассчитывая, что хотя в этих двух учреждениях у него сохранились еще занятия. Но и из этих двух заведений он тоже оказался уволенным без объяснения причин. Итак, моего покойного мужа уволили в 1866 году из всех заведений, где он преподавал, уволили без всякого предупреждения, как не увольняют даже кухарку в порядочном доме. Таким образом, вся моя семья буквально была вышвырнута на улицу без куска хлеба. Но это еще далеко не все: когда через два-три года после этого то одно, то другое частное заведение предлагали ему учительское место, он предупреждал, что уволен из казенных заведений, но его уговаривали согласиться, взяв на себя хлопоты о разрешении. Однако ему не разрешали преподавания и в частных заведениях. А принц Ольденбургский, узнав, что начальница одной из частных гимназий предложила Василию Ивановичу место учителя литературы, сказал ей: «Как могли вы даже подумать о том, чтобы пригласить к себе такую политически скомпрометированную личность? Водовозов – Каракозов; обе фамилии недаром рифмуют друг с другом!»

В это время я тоже не могла помочь ничем моей семье. За полгода перед этим Александр Карлович Пфель², по желанию одной высокопоставленной особы, решил устроить новый класс с программой женской гимназии, в который допускались бы лучшие ученицы различных училищ и женских приютов. Преподавательские места в этом вновь открываемом учреждении могли, между прочим, занимать и женщины, выдержавшие экзамены на младшего учителя гимназии. Вместе с тремя другими женщинами я была допущена к экзаменам, выдержала их, была принята преподавательницею и должна была начать уроки со второй половины августа. В назначенное время я явилась на уроки, но Пфель заявил мне, что учреждение этого нового класса затягивается³, но, во всяком случае, я не была утверждена в качестве преподавательницы и мне не дозволяется преподавание потому, что в 1861 году, во время студенческих волнений, я произнесла речь студентам, для чего будто бы даже взобралась на дрова. Я немедленно представила мой институтский аттестат, из которого видно было, что я окончила курс в Смольном институте лишь в 1862 году, то есть через шесть месяцев после означенного события, следовательно, в то время, когда меня обвиняли в произнесении речи, я

² Чиновник особых поручений при Четвертом отделении собственной его величества канцелярии, который через два года после этого получил звание почетного опекуна и управляющего Московским воспитательным домом с его округами, Николаевским сиротским институтом и др. (Примеч. Е. Н. Водовозовой.)

³ В конце концов это учреждение не устроилось. (Примеч. Е. Н. Водовозовой.)

безотлучно находилась в четырех стенах закрытого учебного заведения. Но это не помогло. Видимо, уже решено было наперед во что бы то ни стало измором известить мою семью. Как же мне после этого принять пенсию от министерства просвещения, которое так беспощадно губило жизнь моей семьи? Я не только не думала в настоящее время о пенсии, но даже немедленно после смерти моего покойного мужа, когда одно лицо предложило мне хлопотать об этом, я наотрез отказалась. Мне казалось, что, если бы я поступила иначе, кости моего покойного мужа перевернулись бы в гробу.

И вдруг я тут только спохватилась и сообразила, что совсем не так должна была излагать это дело министру, который, насупившись, сидел молча, не проронив ни слова во время моего рассказа.

– Я терпеливо выслушал вас, но не как министр народного просвещения, а как частное лицо. Прошу вас помнить об этом, сударыня. Вот что я замечу относительно вашего длинного повествования о всех жестоких преследованиях и несправедливостях к вам правительства. Конечно, ошибки везде возможны, но, простите, сударыня, – не относительно покойника. А между тем вы говорите об его увольнении с такою злобою и раздражением даже теперь... Вы стараетесь указать, как на величайшую несправедливость, на то, что Василия Ивановича уволили из гимназии без объяснения причин, и вы, видимо, не допускаете даже мысли, что власти имели полное моральное право так поступить. Не я был то-

гда министром просвещения, но, будучи лично знаком с Василием Ивановичем, я интересовался им и прекрасно знаю, что он во время всей своей преподавательской деятельности то и дело выступал на педагогических учительских совещаниях с различными своими протестами против общего решения своих же товарищей-учителей, особенно когда дело шло об исключении какого-нибудь негодного ученика.

– Это действительно случилось, но он протестовал лишь тогда, когда увольняли лучших учеников за какую-нибудь шалость или за ничтожный проступок. Совесть не позволяла ему присоединиться к мнению товарищей, которые с легким сердцем портили жизнь тому или другому юноше.

– Я уважал покойного Василия Ивановича, но, простите, сударыня, не думаю, чтобы, кроме него, все остальные учителя были люди бессовестные. Вы изволили сказать, что он протестовал тогда, когда учеников увольняли за простые шалости и ничтожные проступки. А я до сих пор вспоминаю случай, когда Василий Иванович остался при особом мнении даже тогда, когда проступок одного гимназиста возмутил всех порядочных людей и когда все требовали строгой кары провинившемуся. Я говорю про гимназиста, который пустился отплясывать вприсядку перед своим священнослужителем, перед своим законоучителем.

– Это было не совсем так, ваше сиятельство: священник опоздал на урок, ученики думали, что он уже не придет, и один из них действительно начал плясать, но как только за-

метил входящего священника, сейчас побежал на свое место.

– Танцы и пляска не запрещены, но не в классе. Неуместны они особенно перед уроком закона божий, когда ум ученика должен быть направлен на соображения высшего характера. Негодный мальчишка устроил эту дерзость, чтобы похвастать перед товарищами, показать им, как он пренебрежительно относится к таким предметам, как закон божий, и к таким преподавателям, как его законоучитель. А Василий Иванович одобрял и такие поступки учеников и находил, что удаление из заведения и самых безнравственных мальчишек – преступление. Вот, сударыня, подобные-то протесты против общего решения товарищей-учителей и заставили смотреть начальство на Василия Ивановича как на человека беспокойного и неблагонадежного. Именно неблагонадежного: это слово прекрасно определяет поведение человека. Кроме протестов, несомненно, за покойником числились и другие немалые прегрешения, но подымать всю эту историю при его увольнении, выяснять все это, как вы желаете, немислимо. Что Василий Иванович был человеком действительно неблагонадежным и что этот эпитет вполне к нему подходил, он вполне доказал, когда у нас введен был классицизм, который благополучно господствует и в других культурных государствах Запада и всеми признается полезным при образовании юношества. Но Василий Иванович, конечно, оказался этим недоволен и всюду разносил правительство, всюду кричал о смертоносности классицизма, пи-

сал об этом, читал рефераты. С вашей стороны, сударыня, неблагоприятно возмущаться тем, что его уволили, и уволили без объяснения причин. Нечего удивляться, сударыня, и тому, что его сын оказался революционером. Исполнить вашу просьбу – не могу: я не потатчик юношам такого сорта. К сожалению, к сердечному моему сожалению, решительно ничего не могу сделать для вас.

Я медленно спускалась по лестнице, утратив всякую надежду, сознавая, что мои дальнейшие шаги в этом направлении совершенно бесполезны.

– Вот, ваше превосходительство, какой продолжительной беседы вы удостоились! Его сиятельство умеет отличать достойных людей! Почти целый час имели счастье провести с его сиятельством с глазу на глаз! – говорил швейцар, указывая мне на часы и подавая пальто. Вдруг с верхней площадки меня окликнул мой «благожелатель».

– Как же ваше дело? В чем оно заключается? Исполнили ли министр вашу просьбу? – торопливо спрашивал он меня, когда я опять поднялась на лестницу. При этом он чуть приоткрыл дверь передней, высунув голову и таким образом разговаривал со мною. В нескольких словах я сообщила ему, о чем просила министра и о результате моего ходатайства.

– Сдается мне, что этого очень трудно добиться! Но вы все-таки еще попытайтесь: напишите прошение как можно убедительнее. Только не упоминайте в нем о том, что он вам отказал. Принесите прошение сюда, сегодня же в девять ча-

сов и легонько постучите в эту дверь. «Его» не будет в это время, и я немедленно выйду к вам. Завтра утром все прошения я должен отнести господину Эзову, который читает их, делает доклад о них министру и при этом может замолвить за вас словечко. Вы сами к нему отправляйтесь завтра же в его приемные часы. Господин Эзов – человек очень обходительный.

Я с точностью исполнила эти советы и в назначенный час передала моему «благожелателю» прошение, предварительно положив на него, уже без всякого страха, скромную мзду.

Когда я на другой день вошла в приемную Эзова, его немногочисленные посетители уже расходились, и он пригласил меня в свой кабинет. Это был человек очень небольшого роста, худощавый до истощения, с печатью тяжелого недуга во всех чертах чрезвычайно симпатичного и интеллигентного лица. Он сказал мне, что уже успел прочитать мое прошение, вполне сочувствует матерям, стремящимся, чтобы их сыновья кончали университетский курс, что он в таком духе и будет говорить с министром. Но ввиду того что министр при личном свидании со мной так категорически отклонил мою просьбу, он, Эзов, очень сомневается в успехе. Но это не помешало ему подробно расспросить меня о высылке сына, о моем разговоре с министром, о моих занятиях, о моих изданиях.

Я утратила всякую надежду на благоприятный исход этого дела; формальный отказ, который я рассчитывала получить

еще не скоро, казался мне даже лишней затыжкой, напрасно обременяющей мое и без того тяжелое, неопределенное положение. Вот потому-то и не было пределов моему изумлению, когда через несколько дней М. И. Семевский приехал сказать мне, что Делянов дал разрешение моему сыну держать государственный экзамен, бумага им уже подписана и на днях я получу об этом официальное уведомление. Так как все это М. И. Семевский узнал от самого Эзова, то члены моей семьи очень заинтересовались, каким образом ему удалось уломать министра.

Вот что мы узнали. Когда дошла очередь до изложения моей просьбы, Эзов начал говорить министру о том, как много молодых людей лишены теперь возможности кончить университетский курс. Отчасти, говорил он, это происходит вследствие трудностей, сопряженных для ученика с классицизмом: для бедняка, не имеющего репетитора, трудно одолеть гимназический курс со всеми этими экстемпоралиями⁴, но отчасти и вследствие того, что за политические провинности, иногда совершенные по простому легкомыслию юношей, их исключают из университетов. Министр отвечал, что он прекрасно знает всю трудность классицизма для учащихся, что на это ему жалуются учителя, но не он его ввел. Что же касается политических провинностей молодежи, то это дело уже полицейских учреждений. Конечно, он, министр, находит, что революционный элемент необходимо искоре-

⁴ Здесь: контрольными работами (от *lat.* extemporalia).

нять самыми энергичными мерами, но, если проступок юноши не из тяжелых, он согласен, что такого не следует лишать образования, не позволяя ему держать экзамены: «Выслать куда-нибудь на север подальше на год-другой, чтобы охладить горячую голову, вот и все». За суровые мероприятия он, министр, нигде не возвышал своего голоса.

– Я никогда не забываю, что моя задача – распространять образование, а не тормозить его.

– А между тем при том положении вещей, какое у нас теперь создалось в различных областях жизни, может скоро оказаться недостаток в людях, окончивших университетское образование. Вот, например, госпожа Водовозова: она просит ваше сиятельство разрешить держать государственные экзамены ее сыну, который был уволен из университета только за то, что дал отлитографировать перевод немецкого профессора Туна, которого, кстати сказать, не разошлось ни одного экземпляра. Что касается самого произведения Туна, то могу смело уверить вас, что в нем нет решительно ничего, могущего зажигать политические страсти.

– Я знаком, я, конечно, знаком с произведением Туна. Но видите, раз начальство что-нибудь запрещает, то решительно все, а тем более студенты, обязаны вполне подчиняться такому постановлению.

Кстати замечу, что Делянов, по рассказам лиц, имевших случай беседовать с ним и встречать его, когда при нем упоминали о каком-нибудь произведении, всегда утверждал, что

прекрасно с ним знаком, хотя это ничем не подтверждалось. Очень любил он и повторять излюбленную фразу о том, что он никогда не забывает свою задачу распространять просвещение, а не тормозить его. Он вспоминал ее и тогда, когда его министерство повысило плату за университетское образование, говорил о своей любви к просвещению и в самую горячую пору своего похода против «кухаркиных детей» (как окрестило общество его циркуляр против поступления в средние учебные заведения детей низших сословий), произносил он свою излюбленную фразу и тогда, когда ограничил прием в учебные заведения инородцев, когда для евреев была установлена процентная норма. Сознавая непосильную трудность классицизма для большинства учащихся и ничтожную роль, какую во время его господства играли все остальные учебные предметы, Делянов, однако, крепко держался этой системы за весь период своего управления министерством просвещения. Но перейду к рассказу.

Лишь только в разговоре с Эзовым Делянов упомянул о том, что студент обязан повиноваться распоряжениям начальства, его докладчик заметил ему:

– Это несомненно так, ваше сиятельство. Но ведь студент Водовозов за содеянное и понес весьма чувствительную кару: предварительное тюремное заключение и пять лет ссылки. Я решаюсь вам указать и на другую причину, которая заставляет меня поддерживать просьбу госпожи Водовозовой: я не имею ни с нею, ни с ее сыном никакого личного знаком-

ства, но она – писательница для юношества, книги ее имеют весьма значительное распространение, сама она вращается в известном литературном кругу, и при отказе ей все эти писатели начнут всюду кричать и распространять совершенно неправильную молву о вашем сиятельстве, доказывать, что ваше министерство тормозит дело просвещения.

– Да боже меня сохрани! Вам-то уже известно, что я всеми силами стараюсь распространять его.

– Так вот, ваше сиятельство: во избежание кривотолков подтвердите это вашей подписью. – И Эзов в ту же минуту подал министру перо для подписи. – Если бы я, – говорил он, – пришел к министру за подписью через несколько часов, он бы, вероятно, уже раздумал дать ее. Получив официальное разрешение от министра народного просвещения, я отправилась к директору департамента полиции в его приемный день. Среди многочисленных просителей я стояла последнею. Когда дошла очередь до меня, директор, с нескрываемою ирониею, обратился ко мне:

– Что скажете новенького?

– Вы обещали, ваше превосходительство, если лица, от которых зависит дозволить моему сыну держать экзамены, согласятся на это, то и вы не будете препятствовать...

– Ах, боже мой! Да что вам, наконец, надо от меня? Вы опять с вашими нелепыми фантазиями! Это даже довольно неделикатно с вашей стороны! Мало вы предъявляли мне всяких просьб, мало вы наделали хлопот департаменту по-

лиции?.. А теперь вы во что бы то ни стало желаете втянуть меня в ваши фантастические планы, в ваши авантюры!

– Но я получила формальное разрешение. – И я протянула ему бумагу с означенным уведомлением.

– Что? Что вы говорите? – расширив зрачки и в упор глядя на меня, спрашивал директор. Его необыкновенное изумление и суровая отповедь, как и всегда, напугали меня. В таких случаях мне казалось, что я что-нибудь сказала не так, как следует. Испуганная, я машинально повторяла уже сказанное и протягивала все ту же бумагу. Но он отстранил ее и, после нескольких минут раздумья, произнес:

– Зайдите в мой кабинет.

На мое счастье, мне пришлось не сейчас войти к нему, – его отвлекли какие-то посетители. Это дало мне возможность обдумать, что говорить, и я твердо решила не сообщать ему, каким простым способом я добилась осуществления раз поставленной себе цели. Когда я наконец вошла в его кабинет, я подала ему бумагу, которую он внимательно прочитал.

– Вы получили разрешение от его сиятельства графа Делянова! За мое директорство это первый случай такого разрешения. Я обещал вам не ставить препятствий, если другие разрешат, но такого оборота дела я никак не мог предвидеть. Впрочем, от своего слова я не отказываюсь. Да это было бы и бесполезно. Если вам удалось добиться разрешения от министра народного просвещения, вы сумеете выхлопотать и

все остальное. Да-с!.. Могущественные у вас связи! – и он встал, подавая мне руку.

Мой сын приехал в марте 1890 года держать экзамены, которые растянулись на весьма продолжительный срок: некоторые из них происходили до лета, остальные – после его окончания. Таким образом, мой сын, приехав из ссылки, прожил в Петербурге и его окрестностях до девяти месяцев. Вышло так, что даже во время лета департамент полиции не потребовал его возвращения в ссылку, так как сроки экзаменов были крайне неопределенные. Но мне выдавали лишь недолгосрочные отсрочки на право жительства моего сына в Петербургской губернии, а потому мне те и дело приходилось являться в департамент полиции; В таком случае я всецело подвергалась то суровому, то более снисходительному обращению со стороны директора; В первом случае он бросал не то гневные, не то раздраженные окрики вроде следующих: «Когда же этому будет конец?» – или упрекал меня за то, что я, заручившись всевозможными связями, поставила моего сына в особые условия, при которых ссылка не будет надлежащею карою за его преступление. Но я была уже обстрелянной птицей: молчала как убитая, чтобы дать пройти вспышке. И действительно, через минуту директор, обращаясь к чиновнику, уже давал надлежащее распоряжение на новую отсрочку.

В следующем году надо мной стряслась новая беда: мой второй сын, Николай, в то время студент юридического фа-

культета, за присутствие на похоронах Н. В. Шелгунова в апреле 1891 года был подвергнут непродолжительному аресту, а затем исключен из Петербургского университета. Скоро после этого до меня дошли слухи, что кому-то из уволенных студентов министр просвещения разрешил продолжать курс в провинциальном университете. И я во второй раз отправилась к Делянову, предварительно письменно изложив мою просьбу о дозволении моему сыну перейти в Дерптский университет. Мой «благожелатель», по-прежнему дежуривший в передней министра, встретил меня по-приятельски, внимательно расспросил, в чем состоит мое новое дело, и подтвердил, что двое или трое, хлопотавшие о том же, получили дозволение. Но, когда я спросила его, нельзя ли мне ограничиться подачею прошения, он запротестовал, говоря, что при личном свидании дело будет вернее.

Здороваясь с министром и еще стоя с ним посреди комнаты, я изложила ему мою просьбу.

– Скажите, пожалуйста, сколько же, наконец, у вас сыновей? – ворчливым тоном спросил Делянов, знаком приглашая садиться. Я отвечала ему, что у меня два сына.

– И оба революционеры?

– Помилуйте, ваше сиятельство, какая же революция в том, что мой сын, будучи лично знаком с Шелгуновым, отправился на его похороны?

– А я утверждаю, что он отправился исключительно с целью протеста, с желанием публично заявить правительству:

«Вы угнетали покойного, гоняли его по ссылкам (хотя он заслужил несравненно более суровое к нему отношение), а мы, молодое поколение, за это-то и преклоняемся перед ним». Ведь я прекрасно знаю, что ваши сыновья не могут быть религиозными людьми: я лично был знаком с покойным Василием Ивановичем и с вами имел честь достаточно познакомиться, чтобы судить о том, что ваш сын отправился на похороны Шелгунова не для того, чтобы помолиться за душу усопшего раба божия, а чтобы вместе с другими студентами устроить революционную манифестацию. И как наивны эти молодые люди! Ну, сколько их там было? Для примера скажем триста, пятьсот, допустим даже, что их пришло бы, наконец, три и четыре тысячи... Скажите, пожалуйста, что такое для правительства три-четыре тысячи революционеров? Да решительно ничего! Появляется эскадрон жандармов и... – При этом министр вдруг поднял руку к своему лицу, повернул ее ладонью вверх и дунул. Этим приемом он, очевидно, желал наглядно показать мне, как при одном только появлении жандармов моментально исчезнут с лица земли все революционеры, точно пылинка при легком дуновении ветра. – Да еще пусть бога благодарят, что их только разгонят и рассадят по участкам. Правительство, по обыкновению, действовало в высшей степени милостиво и снисходительно: оно могло бы повернуть дело и так, что только мокренько бы осталось. А почему плодятся у нас эти несчастные, устраивающие Демонстрации-манифестации? Только пото-

му, что семейные начала крайне неустойчивы. У нас все сваливают на школу, – нет-с, извините-с... тут во всем виновата семья, в которой исчезли все устои, все добрые старые семейные традиции и добропорядочные принципы. Вместо того чтобы почаще повторять вашему сыну: «Остерегайся манифестантов, держи себя от них подальше, переходи на другую сторону улицы, как только их завидишь», а вы, сударыня, Даже при отсутствии религиозных чувств, изволите отправлять своего сына молиться за душу усопшего раба божьего под предводительством господина Михайловского.

– Михайловский шел за гробом не в качестве предводителя, а как ближайший друг Шелгунова.

– А! Вы, значит, знакомы с господином Михайловским! Прекрасным обществом вы окружаете ваших сыновей! Чего же удивляться, что они революционеры! И меня вот еще что интересует: скажите, пожалуйста, почему это вы, сударыня, вместо здоровой духовной пищи пичкаете ваших сыновей произведениями господина Михайловского, этого памфлетиста? – вдруг огорошил меня Делянов совершенно неожиданным мною даже от него обвинением. И высказал он это в такой странной форме, что у меня мелькнуло в голове: «Тут дело не обошлось без какого-нибудь доноса или, по крайней мере, нелепой передачи». Я не раз слышала, что любовь Делянова к болтовне заставляет его при всяком удобном случае задерживать у себя людей различного общественного положения и выпрашивать у них о том, что делается в городе,

о слухах и людях. Его добродушное обращение с собеседниками располагало многих из них к сплетням. Вопрос Делянова поверг меня в недоумение, и у меня вырвалось как-то само собою:

– Мои сыновья читают не исключительно Михайловского, а столько же его произведения, сколько и каждого выдающегося, крупного писателя.

– Как? Михайловский – крупный, выдающийся писатель? – И министр при этом как ужаленный вскочил с своего места. – И вы, сударыня, писательница, образованная женщина, можете называть этого жалкого памфлетиста выдающимся писателем?

– Простите, ваше сиятельство, но на Михайловского в литературе уже давно установился взгляд, даже среди тех писателей, которые разделяют не все его идеи, как на замечательного социолога, публициста и критика.

– Очень сожалею и современную литературу, и вас, сударыня, и всех, придерживающихся подобных взглядов на такого вредного писателя, как Михайловский, снискавшего себе известность только своим популярничаньем среди молодежи, выступая ее предводителем в антиправительственных собраниях. Что же касается вашей просьбы относительно вашего сына, то считаю долгом заявить вам, что я по совести не могу наполнять университеты, хотя бы и провинциальные, заведомыми революционерами. – И с этими словами министр встал и подал мне руку, показывая, что аудиенция

окончена.

Открывая при моем выходе дверь, мой «благоприятель» сделал мне едва заметный знак глазами, который подсказал мне, что я должна подождать его. И действительно, я осталась за дверью, а он через несколько минут вышел ко мне на площадку со словами:

– Неудача? Да вы не смущайтесь! Другим дозволено, и вам разрешат! Это он сегодня порасстроился с вами! Я слышал ваш разговор: ведь с ним умеючи надо говорить. Да ничего, нужно только несколько деньков задержать прошение. Это я устрою.

Но, вероятно, не старанию моего «благоприятеля» я обязана была тем, что моему сыну разрешили продолжать университетский курс в Дерптском (Юрьевском) университете: многие студенты, уволенные за присутствие на похоронах Шелгунова, точно так же были приняты в провинциальные университеты.

После моего второго, и последнего свидания с Деляновым я долго не получала ни отказа на мою просьбу, ни известия об ее удовлетворении. Тяжелое настроение мешало работе, и я решила отправиться к Н. К. Михайловскому. Издавна уже как-то повелось, что в трудные минуты жизни, в периоды житейских невзгод и треволнений хорошие знакомые Николая Константиновича отправлялись посоветоваться с ним, а то и просто рассказать ему о том, что с ними случилось. Трудно представить, как бесконечно внимателен он был в та-

ких случаях. Он всегда умел дать хороший совет, привести в пример какой-нибудь аналогичный случай из жизни, который окончился благоприятно, а то и совсем разогнать тоску, если какое-нибудь обычное житейское затруднение или недоразумение его собеседник принимал к сердцу более трагично, чем оно того заслуживало.

Михайловский в это время жил в Любани, где он поселился, когда был выслан из Петербурга. До невозможности жалкое помещение занимал он в это время: оно не напоминало ни дачу, ни дом, а представляло какую-то полутемную хибарку с крылечком, которое в шутку называли террасой. У Николая Константиновича я застала его сына, племянника и одну общую знакомую. Мы провели время, как и всегда, в самой непринужденной болтовне, а молодежь и в школьничествах, в которые от времени до времени втягивали и Николая Константиновича.

На возвратном пути в вагоне мне пришлось сидеть около пожилой дамы, с которою я встречалась в знакомых домах, возвращавшеюся в Петербург из провинции. Когда она узнала, что я еду от Михайловского, она заговорила о нем с чувством самого глубокого уважения и горячей признательности.

– Чтобы вполне оценить его, – говорила она, – узнать его благороднейшее сердце и нежную душу, нужно попасть в беду. Он был очень дружен с моим мужем, несколько лет сряду часто бывал у нас, и я, как и все люди нашего круга, счи-

тала его крупным писателем и весьма порядочным человеком. Но если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что он может глубоко проникнуться чужим горем и несчастьем, окружить человека, попавшего в беду, самыми нежными, самыми деликатными заботами, я бы нашла это большим преувеличением, приписала бы это обычному свойству нашей интеллигенции, которая – раз уже выдающийся писатель, награждает его несуществующими душевными качествами. Но вот надо мной стряслась беда: мой муж отправлен был в ссылку, и Николай Константинович стал так заботиться о моей семье, точно о своей собственной. Что же касается материальной помощи, то он оказывал ее с невыразимо тонкою деликатностью. Да, это настоящий человек, истинный джентльмен в самом лучшем смысле этого слова! – закончила она.